

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Шестов Лев Начала и концы.
Предисловие.

Публикуется по факсимильному изданию 1910 года, старая орфография сохранена частично, чтоб все могли читать.

Какъ это ни покажется на первый взглядъ страннымъ, но несомненно, что самой характерной для человека чертой является боязнь правды. Всегда – съ техъ поръ, какъ человечество научилось думать – къ правде относились подозрительно, одни – скрыто, другие – открыто. И обыкновенно те, которые на словахъ являлись наиболее горячими поборниками истины, на деле более всего боялись ея. Пожалуй, не будетъ даже преувеличениемъ сказать, что только те, которые бранили истину, хоть до некоторой степени решались приближаться къ ней. Но въ общемъ, повторяю, среди людей уже съ древнихъ временъ укоренилась прочная вера, что истина страшна и что ея нужно всячески избегатьъ. Ее сравнивали съ головой Медузы, окруженной змеями, и говорили, что всякий, взглянувший на нее, обращается въ камень. Или съ солнцемъ – постоянно глядеть на которое значить рисковать потерять зрение. Этимъ, вероятно, объясняется сложившееся уже давно и тоже непонятное, даже загадочное мнение, что люди добровольно не ищутъ истины и что только подчиняясь необходимости или непреодолимому категорическому императиву они перестаютъ себя обманывать и решаются прямо взглянуть въ лицо правде. «Ты не долженъ лгать», ежеминутно повторяетъ себе ученый исследователь и темъ не менее не можетъ победить въ себе инстинктивнаго страха и лжетъ, лжетъ, лжетъ. Не изъ соображений мелкой личной выгоды въ родъ того, что *primus vivere deinde philosophari* – такого рода случаи насъ здесь совсемъ не занимаютъ. Ученый исследователь лжетъ, руководясь высшими соображениями, подчиняясь велениямъ своей совести. Ему кажется, что если онъ начнетъ говорить правду, если правда станетъ известной людямъ, то жизнь на земле станетъ совершенно невозможной. Такое суждение вы услышите отъ представителей самыхъ различныхъ мировоззрений, отъ людей, которые не смогутъ сговориться ни по одному другому вопросу.

Съ одной стороны, Нитше и Оскаръ Уайльдъ прославляли ложь, съ другой стороны, все представители возникшихъ после Канта безчисленныхъ теорий познания предлагаютъ вместо истины разнаго рода суррогаты ея въ виде общеобязательныхъ суждений, т.е. ту же ложь. Оскаръ Уайльдъ и Нитше, съ одной стороны, современные неокантианцы (а вместе съ ними и все ихъ противники вплоть до позитивистовъ и материалистовъ) съ другой, въ той или иной форме, скрыто или открыто, проповедуютъ ложь, безъ которой, по ихъ мнению, жизнь невозможна. Если мы присмотримся внимательнее къ современнымъ религиознымъ людямъ, мы убедимся, что и они большей частью боятся истины и избегаютъ ея и потому верить. Оттого обыкновенно и выходитъ, что люди верить въ то, чему ихъ съ детства учили, съ чемъ они более или менее свыклись. Родившийся въ католичестве, если онъ будетъ верить, то непременно въ единую святую католическую церковь, родившийся въ протестантстве признаетъ только христианство лютерова истолкования, магометанинъ по рождению будетъ крепко держаться Аллаха и Магомета. Случаи искренняго обращения бывають только среди дикарей. Образованные же люди знаютъ, что безъ веры страшно и потому ищутъ веры *quand-même*, более озабоченные необходимостью уверовать, чемъ желаниемъ найти религиозную истину. Естественно является вопросъ: да точно ли это убеждение человека правильно? Точно ли правда на самомъ деле такъ страшна и вредна? Широкое распространение этого мнения никоимъ образомъ не можетъ служить само по себе доказательствомъ его истинности. Какие только предрасудки не получали широкаго распространения!..

Я отнюдь, однако, не хочу оспаривать пользы и практическаго значения лжи. Уайльдъ, Нитше и немецкие гносеологи по-своему правы: ложь полезна, даже очень полезна. Но я решительно не вижу необходимости ставить дилемму: либо ложь, либо истина. Пусть ложь процветаетъ и пусть даже гносеологи воспеваютъ ее, какъ единую возможную, какъ самую лучшую и высокую истину – разве это можетъ служить возражениемъ противъ настоящей истины! Людямъ кажется, что если выпустить истину, она тотчасъ же сожретъ ложь, подобно тому какъ некогда тощая библейския коровы сожрали толстыхъ. И вотъ я считаю своей приятной обязанностью заявить здесь, что эти опасения очень преувеличены и ровно ни на чемъ не основаны. Несмотря на то, что истины

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
постоянно бродяť по свету, толстая ложь по-прежнему продолжаетъ процветать, благоденствовать и приносить все те «пользы», которыхъ люди отъ нея такъ жадно требуютъ. Истина решительно не имеетъ техъ силъ, которыя нужны, чтобъ истребить ложь. Можетъ быть, истина вовсе съ ложью и не враждуетъ, можетъ быть, она сама и породила ее на светъ? Последнее предположение далеко не такъ невероятно, какъ это можетъ показаться съ перваго раза...

Впрочемъ – не въ этомъ суть. Главное, идеалистамъ не о чемъ беспокоиться: ихъ прочный союзъ съ ложью обезпечиваетъ обеимъ договорившимся сторонамъ всевозможныя выгоды и на очень долгое время, *in saecula saeculorum*. А потому нетъ большой беды, если иной разъ и истина решится выглянуть на светъ божий. Она, правда, не сулитъ непосредственныхъ выгодъ. Но могу сообщить, что искатели истины далеко не такъ наивны и безкорыстны, какъ думаютъ въ своей близорукости идеалисты, и что въ своихъ стремленияхъ они отнюдь не руководятся одними «чистыми» идеями. Если они и подставляютъ свои головы подъ удары – вспомнимъ хотя бы о Чехове, чтобъ взять въ примеръ писателя, о которомъ говорится въ настоящемъ сборнике – то, право, не изъ преданности и благоговения къ дубине. Мне уже однажды пришлось указать, что разбитая голова часто является первой страницей истории развития гения. Мне, конечно, не поверили – особенно идеалисты, которые твердо знаютъ (идеалисты вообще очень многое очень твердо знаютъ), что разбитая голова есть разбитая голова и только. Я бы могъ сослаться въ подтверждение моего мнения на трудъ известнаго психолога Джемса: *The varieties of religious experience*, но в предисловии нужно быть краткимъ. Кто хочетъ, пусть самъ прочтетъ эту во многихъ отношенияхъ прямо-таки замечательную книгу. Джемсъ американецъ, чедовекъ практический и очень доверяющий здравому смыслу. И темъ не менее чуть ли не вся книга посвящена похвале глупости. Когда невежественный и не умный человекъ вступаетъ въ союзъ съ глупостью, въ этомъ мало интереснаго. Но когда очень умный и ученый человекъ открыто ищетъ правды у глупости, даже у безумия – такое зрелище уже заслуживаетъ внимания и даже особаго внимания.

Пора кончать. Скажу только еще два слова по поводу заглавия сборника. «Начала и концы», иными словами все, только не середина. Середина не нужна не потому, что она сама по себе ни на что не годится. Въ мире вообще всякая вещь на что-нибудь да годится. Но середина обманывается, ибо у нея есть собственныя начала и собственные концы, и она кажется похожей на все. А въ этомъ звании, которое она охотно на себя принимаетъ и о которомъ для нея такъ упорно хлопчуть всякаго рода благочестивые люди, изъ числа техъ, о которыхъ шла речь выше – она уже не можетъ притязать на признание. Всякаго рода самозванство вызываетъ протестъ и озлобление даже и тогда, когда ему, какъ въ данномъ случае, присущъ элементъ комическаго. Середина не есть все, не есть даже большая часть всего: сколько бы теорий познаний ни написали немцы – мы имъ не поверимъ. Мы будемъ идти къ началамъ, будемъ идти къ концамъ – хотя почти наверное знаемъ, что не дойдемъ ни до начала, ни до конца. И будемъ утверждать, что истина, въ последнемъ счете, можетъ быть нужнее самой лучшей лжи – хотя, конечно мы не знаемъ и, верно, никогда последней истины не узнаемъ. Уже и то хорошо, что все, выдуманное людьми суррогаты истины – не истина!..

Есть многое на небе и земле, что и не снилось учености даже ученейшихъ...

Л. Ш.

Zaanen (Швейцария)

8-21 августа 1908 г.

Творчество из ничего (А. П. Чехов)

Resigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute.

Ch. Baudelaire.

I

Чехов умер – теперь можно о нем свободно говорить. Ибо говорить о художнике – значит выявлять, обнаруживать скрывавшуюся в его произведениях “тенденцию”, а проделывать такую операцию над живым человеком далеко не всегда позволительно. Ведь была же какая-нибудь причина, заставлявшая его таиться и, разумеется, причина серьезная, важная. Мне кажется, многие это чувствовали, и отчасти потому у нас до сих пор нет настоящей оценки Чехова. Разбирая его произведения, критики до сих пор ограничивались общими местами и избитыми фразами. Знали, конечно, что это дурно: но все лучше, чем выпытывать правду у живого человека. Один Н. К. Михайловский попробовал ближе подойти к источнику творчества Чехова и, как известно, с испугом, даже с отвращением отшатнулся от него. Тут, между прочим, покойный критик мог лишней раз убедиться в фантастичности так называемой теории искусства ради искусства. У каждого художника есть своя определенная задача, свое жизненное дело, которому он отдает все силы. Тенденция смешна, когда она рассчитывает заменить собою дарование, прикрыть беспомощность и отсутствие содержания, когда она заимствуется на веру из запаса ходких в данную минуту идей. “Я защищаю идеалы – стало быть, все должны мне сочувствовать” – в литературе такого рода претензии высказываются сплошь и рядом – и знаменитый спор о свободном искусстве, по-видимому, держался только на двояком смысле употреблявшегося противниками слова “тенденция”. Одни хотели думать, что благородство направления спасает писателя, другие боялись, что тенденция закабалит их на службу чуждым им задачам. Очевидно, обе стороны напрасно волновались: никогда готовые идеи не прибавят дарования посредственности, и наоборот, оригинальный писатель во что бы то ни стало поставит себе собственную задачу. У Чехова было свое дело, хотя некоторые критики и говорили о том, что он был служителем чистого искусства и даже сравнивали его с беззаботно порхающей птичкой. Чтобы в двух словах определить его тенденцию, я скажу: Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно в течение всей своей почти 25-летней литературной деятельности Чехов только одно и делал: теми или иными способами убивал человеческие надежды. В этом, на мой взгляд, сущность его творчества. Об этом до сих пор мало говорили – и по причинам вполне понятным: ведь то, что делал Чехов, на обыкновенном языке называется преступлением и подлежит суровейшей каре. Но как казнить талантливого человека? Даже у Михайловского, показавшего на своем веку не один пример беспощадной суровости, не поднялась рука на Чехова. Он предостерегал читателей, указывал на “недобрые огоньки”, подмеченные им в глазах Чехова. Но дальше этого он не шел: огромный талант Чехова подкупил ригористически строгого критика. Может быть, впрочем, не последнюю роль в относительной мягкости приговора Михайловского сыграло и его собственное положение в литературе. Тридцать лет подряд молодое поколение слушало его, и слово его было законом. Но потом всем надоело вечно повторять: Аристид справедлив, Аристид прав. Молодое поколение захотело жить и говорить по-своему и, в конце концов, старого учителя подвергли остракизму. В литературе существует тот же обычай, что и у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков. Михайловский отбивался, сколько мог, но он уже не чувствовал той твердости убеждения, которая вырастает из сознания своего права. Внутренне он как будто чувствовал, что правы молодые – не тем, конечно, что они знают истину: какую истину знали экономические материалисты! а тем, что они молоды, что у них жизнь впереди. Восходящее светило всегда светит ярче заходящего, и старики должны добровольно отдавать себя на съедение молодым. Михайловский, повторяю, это чувствовал, и это, быть может, отнимало у него прежнюю уверенность и твердость в суждениях. Он, правда, по-прежнему, как мать гетевской Гретхен, не принимал попадавшихся ему случайно богатых даров, не посоветовавшись предварительно со своим духовником. Дар Чехова он тоже носил к пастору и, очевидно, он там был заподозрен и отвергнут – но идти против общественного мнения у Михайловского уже не было смелости. Молодое поколение ценило в Чехове талант, огромный талант, и ясно было, что оно от него не отречется. Что оставалось Михайловскому? Он пробовал, говорю, предостерегать. Но его никто не слушал, и Чехов стал одним из любимейших русских писателей.

А меж тем, справедливый Аристид и на этот раз был прав, как он был прав, когда предостерегал против Достоевского: теперь Чехова нет, об этом уже можно говорить. Возьмите рассказы Чехова – каждый порознь или, еще лучше, все вместе: посмотрите за его работой. Он постоянно точно в засаде сидит, высматривая и подстерегая человеческие надежды. И будьте спокойны за него: ни одной из них он не просмотрит, ни одна из них не избежит своей участи.

Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее – переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя – стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. И сам Чехов на наших глазах блекнул, вянул и умирал – не умирало в нем только его удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди. Более того, в этом искусстве он постоянно совершенствовался и дошел до виртуозности, до которой не доходил никто из его соперников в европейской литературе. Я без колебания ставлю его далеко впереди Мопассана. Мопассану часто приходилось делать напряжения, чтоб справиться со своей жертвой. От Мопассана сплошь и рядом жертва уходила хоть помятой и изломанной, но живой. В руках Чехова все умирало.

II

Нужно напомнить, хотя все это знают, что в первых своих произведениях Чехов менее всего похож на того Чехова, к которому мы привыкли в последние годы. Молодой Чехов весел, беззаботен и, пожалуй, даже похож на порхающую птичку. Свои работы он печатает в юмористических журналах. Но уже в 1888-1889 годах, когда ему было всего 27-28 лет, появились две его вещи: рассказ “Скучная история” и драма “Иванов”, которыми положено начало новому творчеству. Очевидно, в нем произошел внезапный и резкий перелом, целиком отразившийся и в его произведениях. обстоятельной биографии Чехова мы еще не имеем, да, вероятно, и иметь не будем по той причине, что обстоятельных биографий не бывает – я, по крайней мере, не могу назвать ни одной. Обыкновенно в жизнеописаниях нам рассказывают все, кроме того, что важно было бы узнать. Может быть, когда-нибудь выяснится с мельчайшими подробностями у какого портного шил себе платье Чехов, но, наверное, мы никогда не узнаем, что произошло с Чеховым за то время, которое протекло между окончанием его рассказа “Степь” и появлением первой драмы. Если хотим знать, нужно положиться на его произведения и собственную догадливость.

“Иванов” и “Скучная история” представляются мне вещами, носящими наиболее автобиографический характер. В них почти каждая строчка рыдает – и трудно предположить, чтобы так рыдать мог человек, только глядя на чужое горе. И видно, что горе новое, нежданное, точно с неба свалившееся. Оно есть, оно всегда будет, а что с ним делать – неизвестно.

В “Иванове” главный герой сравнивает себя с надорвавшимся рабочим. Я думаю, что мы не ошибемся, если приложим это сравнение и к автору драмы. Чехов надорвался, в этом почти не может быть сомнения. И надорвался не от тяжелой, большой работы, не великий непосильный подвиг сломил его, а так, пустой, незначительный случай: упал, споткнувшись, поскользнулся. И вот бессмысленный, глупый, невидный почти случай, – и нет прежнего Чехова, веселого и радостного, нет смешных рассказов для “Будильника”, а есть угрюмый, хмурый человек, “преступник”, пугающий своими словами даже опытных и бывалых людей.

При желании легко отделаться и от Чехова и от его творчества. В нашем языке есть два волшебных слова: “патологический” и его собрат “ненормальный”. Раз Чехов надорвался, мы имеем совершенно законное, освященное наукой и всеми традициями право не считаться с ним, в особенности, если он уже умер и, стало быть, не может быть обиженным нашим пренебрежением. Это при желании отделаться от Чехова. Но если такого желания почему-либо нет, слова “ненормальный” и “патологический” на вас не произведут никакого действия. Может быть, вы пойдете дальше и попытаетесь найти в чеховских переживаниях критерий наиболее незабываемых истин и предпосылок нашего познания. Третьего выхода нет: нужно либо отвергнуть Чехова, либо стать его соучастником.

В “Скучной истории” герой – старый профессор; в “Иванове” герой – молодой помещик. И, однако, тема в обоих произведениях одна и та же. Профессор надорвался и этим отрезал себя и от своей прошлой жизни, и от возможности принимать деятельное участие в человеческих интересах; Иванов тоже надорвался и стал лишним, ненужным человеком. Если бы жизнь была так устроена, что одновременно с утратой здоровья, сил и способностей наступала и смерть, старый профессор и молодой Иванов не могли бы просуществовать и часу. Для слепого ясно: оба они разбиты и для жизни не годятся. Но по непонятным для нас причинам мудрая природа не озаботилась о такого рода совпадении: сплошь и рядом человек продолжает жить после того, когда он

совершенно утратил способность брать от жизни то, в чем мы привыкли видеть ее сущность и смысл. И еще поразительнее: у разбитого человека обыкновенно отнимается все, кроме способности сознавать и чувствовать свое положение. Если угодно – мыслительные способности в таких случаях большей частью утончаются, обостряются, вырастают до колоссальных размеров. Нередко средний, посредственный, банальный человек, попав в исключительное положение Иванова или старого профессора, изменяется до неузнаваемости. В нем проявляются признаки дарования, таланта, даже гениальности. Ницше поставил когда-то такой вопрос: может ли осел быть трагическим? Он оставил его без ответа, но за него ответил гр. Толстой в “Смерти Ивана Ильича”. Иван Ильич, как видно из сделанного Толстым описания его жизни, посредственная, обыкновенная натура, одна из тех, которые проходят свой путь, избегая всего трудного и проблематического, озабоченные исключительно спокойствием и приятностью земного существования. И вот чуть только пахнуло на него холодом трагедии – он весь преобразился. Иван Ильич и его последние дни захватывают нас не меньше, чем история Сократа или Паскаля.

Замечу кстати – и это я считаю чрезвычайно важным – что в творчестве своем Чехов находился под влиянием Толстого и в особенности под влиянием его последних произведений. Это важно ввиду того, что таким образом часть “вины” Чехова падает на великого писателя земли русской. Мне представляется, что если бы не было “Смерти Ивана Ильича” – не было бы ни “Скудной истории”, ни “Иванова”, ни многих других замечательных произведений Чехова. Это менее всего, однако, значит, что Чехов заимствовал хоть одно слово у своего великого предшественника. У Чехова было достаточно собственного материала, и в этом смысле он в помощи не нуждался. Но едва ли молодой писатель решился бы предстать за свой собственный страх пред людьми с теми мыслями, которые составляют содержание “Скудной истории”. Толстой, когда писал “Смерть Ивана Ильича”, имел за собой “Войну и мир”, “Анну Каренину” и прочно установившуюся репутацию первоклассного художника. Ему все было позволено. Чехов же был молодым человеком, весь литературный багаж которого сводился к нескольким десяткам мелких рассказов, приютившихся на страницах малоизвестных и не пользовавшихся влиянием периодических изданий. Если бы Толстой не проложил пути, если бы Толстой своим примером не показал, что в литературе разрешается говорить правду, говорить что угодно, Чехову пришлось бы, может быть, долго бороться с собой, прежде чем он решился бы на публичную исповедь, хотя бы в форме рассказов. Да и после Толстого какую ужасную борьбу пришлось выдержать Чехову с общественным мнением! “Зачем он пишет свои ужасные рассказы и драмы?” – спрашивали себя все. – “Зачем писатель систематически подбирает для своих героев такие положения, из которых нет и абсолютно не может быть никакого выхода? Что можно сказать старому профессору и его воспитаннице, Кате, в ответ на их нескончаемые жалобы?” То есть, в сущности, есть что сказать: в литературе с давних времен заготовлен большой и разнообразный запас всякого рода общих идей и мировоззрений, метафизических и позитивных, о которых учителя вспоминают каждый раз, как только начинают раздаваться слишком требовательные и беспокойные человеческие голоса. Но в том-то и дело, что Чехов, будучи сам писателем и образованным человеком, заранее, вперед отверг всевозможные утешения, метафизические и позитивные. Даже у Толстого, тоже не слишком ценившего философские системы, вы не встречаете такого рода резко выраженного отвращения ко всякого рода мировоззрениям и идеям, как у Чехова. Он хорошо знает, что мировоззрения полагаются чтить и уважать; свою неспособность преклоняться пред тем, что считается образованными людьми святыней, он считает своим недостатком, с которым нужно всеми силами бороться. Он даже и борется с ним всеми силами, но безуспешно. Борьба не только ни к чему не приводит, но наоборот, чем дольше живет Чехов, тем больше ослабевает над ним власть высоких слов – вопреки собственному разуму и сознательной воле. Под конец он совершенно эмансипируется от всякого рода идей и даже теряет представление о связи жизненных событий. В этом самая значительная и оригинальная черта его творчества. Забегая несколько вперед, я уже здесь укажу на его комедию “Чайку”, в которой, наперекор всем литературным принципам, основой действия является не логическое развитие страстей, не неизбежная связь между предыдущим и последующим, а голый, демонстративно ничем не прикрытый случай. Читая драму, иной раз кажется, что пред тобой номер газеты с бесконечным рядом faits divers [1 – Происшествия (лат.)], нагроможденных друг на друга без всякого порядка и заранее обдуманного плана. Во всем и везде царит самодержавный случай, на этот раз дерзко бросающий вызов всем мировоззрениям. В этом, говорю, наибольшая оригинальность Чехова и – странно подумать – источник его мучительнейших переживаний. Он не хотел оригинальности, он делал нечеловеческие напряжения, чтобы быть, как все – но от судьбы не уйдешь!

Сколько людей, особенно среди писателей, из кожи вон лезут, чтоб быть не похожими на других и все-таки не могут освободиться от шаблона – а вот Чехов против воли стал своеобразным! Очевидно, что условием своеобразности является не готовность во что бы то ни стало высказывать непринятые суждения. Самая новая и смелая мысль может оказаться и часто оказывается пошлой и скучной. Чтобы стать оригинальным, нужно не выдумать мысль, а совершить дело, трудное и болезненное. И так как люди бегут труда и страданий, то обыкновенно действительно новое рождается в человеке против его воли.

III

“С совершившимся фактом мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нет”. “Действовать” при таких условиях невозможно, стало быть, остается “упасть на пол, кричать и биться головой об пол”. Так говорит Чехов об одном из своих героев, но мог бы сказать обо всех без исключения. Заботами автора они поставлены в такое положение, что им остается только одно: упасть на пол и колотиться головой о стену. Со странным загадочным упорством они отвергают все принятые способы спасения. Николай Степанович, старый профессор (“Скучная история”) мог бы попытаться забыться или утешиться воспоминаниями из своего прошлого. Но воспоминания только раздражают его. Он был выдающимся ученым – теперь работа валится из его рук. Он умел два часа подряд на лекции удерживать внимание аудитории, теперь его не хватает и на четверть часа. У него были друзья и товарищи, он любил своих учеников и помощников, свою жену, своих детей, теперь ему ровно ни до кого нет дела. Если люди и возбуждают в нем какие-либо чувства, то разве только ненависть, злобу и зависть. Он должен признаться себе в этом с той правдивостью, которая неизвестно почему, зачем и откуда пришла к нему на смену прежнего, свойственного всем умным и нормальным людям дипломатического искусства видеть и говорить лишь то, что способствует добрым человеческим отношениям и здоровым внутренним настроениям. Все, о чем он теперь думает, все, что он видит – только отравляет ему и другим те небольшие радости, которыми красится человеческая жизнь. Он чувствует с ясностью, которой не достигал никогда в лучшие дни и часы своих прежних теоретических изысканий, что он стал преступником – ничего не преступив. Все, что он прежде делал, было хорошо, нужно, полезно. Он рассказывает о своем прошлом, и вы видите, что он всегда был прав и мог бы разрешить самому суровому судье во всякое время дня и ночи прийти к нему – проверить не только дела его, но и помыслы. А теперь не только посторонний осудил бы его – он сам себя осуждает. Он откровенно признается, что весь соткан из зависти и ненависти. “Самое лучшее и святое право королей, – говорит он, – это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево... Но теперь я уже не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодуюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен... Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться такая перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил – я ведь болен и каждый день теряю в весе, то положение мое жалко: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными”...

Такой вопрос ставит старый умирающий профессор, а вместе с ним и Чехов. Что лучше? Быть ли королем, или старой, завистливой, злой “жабой”, как он называет себя в другом месте? Вопрос оригинальный, спору нет. Вы чувствуете в приведенных словах, чего стоила Чехову его оригинальность – и с какой великой радостью в ту минуту, когда для него выяснялась его “новая” точка зрения, отдал бы он все свои оригинальные мысли за самую обыкновенную, банальную способность доброжелательства. Для него сомнений нет, его образ мыслей жалок, отвратителен, постыден. Его настроения ему так же противны, как и его наружность, которую он описывает в следующих выражениях: “Я изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставленными зубами и с неизлечимым тиком. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда

улыбаюсь, все лицо покрывается старческими, мертвенными морщинами”. Хороша фигура? Хороши настроения? Поглядеть со стороны на такого уродца, и в сердце самого доброго и сострадательного человека невольно шевельнется жестокая мысль: поскорее добить, уничтожить эту жалкую и отвратительную гадину, или, если нельзя в силу существующих законов прибегнуть к такой решительной мере – то по крайней мере припрятать его подальше от человеческих глаз, куда-нибудь в тюрьму, в больницу, в сумасшедший дом: приемы борьбы, разрешаемые не только законодательством, но, если не ошибаюсь, и вечной моралью. Но тут вы наталкиваетесь на особый вид сопротивления. Физических сил для борьбы с тюремщиками, палачами, больничными служителями и моралистами у старого профессора нет: его и малый ребенок свалит. Убеждения и просьбы – он знает это – не помогут. И он пускается на отчаянное средство: страшным, диким, раздирающим душу голосом он начинает кричать на весь мир о каких-то правах своих. “Мне хочется прокричать не своим голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь, в аудитории, будет хозяйничать другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, которых я не знал раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в то время мое положение представляется мне таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе с отчаянным криком бросились к выходу”. Доводы профессора едва ли на кого-нибудь подействуют – да я и не знаю, есть ли в приведенных словах доводы. Но этот ужасающий, нечеловеческий стон! Представьте себе картину: лысый, безобразный старик, с трясущимися руками, с искривленным ртом, с высохшей шеей, с обезумевшими от страха глазами, валяется, как зверь на земле, и вопит, вопит, вопит!.. Чего ему нужно?! Он прожил длинную, интересную жизнь, теперь осталось бы только красиво закончить ее, возможно тихо, спокойно и торжественно распrostившись с земным существованием. Но он рвет и мечет, призывает к суду чуть ли не всю вселенную и судорожно цепляется за оставшиеся ему дни. А Чехов? Что делает Чехов? Вместо того, чтобы равнодушно пройти мимо, он берет сторону чудовищного уродца, он посвящает десятки страниц его “душевному переживанию” и постепенно доводит читателя до того, что вместо естественного и законного чувства негодования в его сердце зарождаются ненужные и опасные симпатии к разлагающемуся и гниющему существованию. Ведь помочь профессору нельзя – это знает всякий. А если нельзя помочь, то, стало быть, нужно забыть: это прописная истина. Какая польза, какой смысл может быть в бесконечном расписывании, – гр. Толстой сказал бы “размазывании”, – невыносимых мук агонии, неизбежно приводящей к смерти?

Если бы “новые” мысли и чувства профессора блистали красотой, благородством, самоотверженностью – тогда дело иное: читатель мог бы кой-чему поучиться. Но, как видно из рассказа Чехова, все эти качества принадлежали старым мыслям его героя. Теперь, с началом его болезни, в нем зародилось непобедимое отвращение ко всему, что хотя издали напоминает высокие чувства. Когда его воспитанница Катя обращается к нему за советом что делать – он, знаменитый ученый, друг Пирогова, Кавелина и Некрасова, воспитавший столько поколений молодежи, не знает, что сказать ей. Бессмысленно перебирает он в своей памяти целый ряд хороших слов – но они потеряли для него всякое значение. Что ответить ей? – спрашивает он себя. “Легко сказать – трудись или раздай свое имущество бедным, или познай самого себя и потому, что легко сказать, я не знаю, что ответить”. Катя, еще молодая, здоровая и красивая женщина, стараниями Чехова попала, как и профессор, в мышловку, из которой человеческими силами не вырваться. И с тех пор, как она познала безнадежность, она завоевала все симпатии автора. Пока человек пристроен к какому-нибудь делу, пока человек имеет хоть что-нибудь впереди себя – Чехов к нему совершенно равнодушен. Если и описывает его, то обыкновенно наскоро и в небрежно ироническом тоне. А вот когда он запутается, да так запутается, что никакими средствами его не выпутаешь – тогда Чехов начинает оживать. Тогда у него являются краски, энергия, подъем творческих сил, вдохновение. В этом, может быть, секрет его политического индифферентизма. Несмотря на все свое недоверие к проектам лучшего будущего, Чехов, как и Достоевский, очевидно, не был вполне убежден в том, что общественные реформы и наука бессильны. Как ни труден социальный вопрос, но все же он может быть разрешим. Может, когда-нибудь людям и суждено хорошо устроиться на земле, так, чтобы и жить, и умирать без мук, и что дальше этого идеала человечество не может идти; может быть, авторы толстых трактатов о прогрессе угадывают и прозревают что-то. Но именно потому их дело чуждо Чехову. Его сначала инстинктивно, а потом и сознательно влекло к неразрешимым, по существу, проблемам, вроде той, которая изображена в “Скучной истории”; в наличии бессилие, инвалидство,

впереди неизбежная смерть и никаких надежд хоть сколько-нибудь изменить положение. Такое влечение, все равно инстинктивное или сознательное, явно противоречит требованиям здравого рассудка и нормальной воли. Но от Чехова, от надорвавшегося человека, нельзя ожидать ничего другого. О безнадежности всякий знает или слышал. Сплошь и рядом на наших глазах разыгрываются ужасные, невыносимые трагедии, и если бы каждый погибающий, по примеру Николая Степановича, по поводу своей гибели подымал такую ужасную тревогу, жизнь обратилась бы в кромешный ад. Николай Степанович обязан не выкрикивать о своих муках на весь мир, а озаботиться о том, чтобы возможно меньше беспокоить людей. И Чехов обязан был бы всячески помогать ему в этом почтенном деле. Мало ли скучных историй на свете – всех не перечтешь! Особенно такого рода истории, как та, о которой рассказывает Чехов – их бы следовало с особенным старанием припрятывать как можно дальше от человеческих взоров. Ведь здесь мы имеем дело с разложением живого организма. Что бы сказали человеку, который воспротивился бы преданию земле трупов, который стал бы выкапывать из могил разлагающиеся и гниющие тела, хотя бы на том основании, вернее, под тем предлогом, что это тела близких ему, даже знаменитых, прославленных, гениальных людей?! Такое занятие в нормальном, здоровом духе не может вызвать ничего, кроме отвращения и страха. В старину колдуны, кудесники, волхвы, по народному поверью, водились с мертвецами и находили в этом страшном занятии что-то вроде удовлетворения или даже настоящее удовлетворение. Но они обыкновенно прятались от людей в леса и пещеры, уходили в пустыни и горы, чтоб там в одиночестве предаваться своим противоестественным склонностям. И если случайно удавалось обнаружить их дела, здоровые люди отвечали им кострами, виселицами, пытками. То, что называется злом, худший вид зла обыкновенно имел своим источником и началом интерес и вкус в мертвечине. Человек прощал всякое преступление – жестокость, насилие, убийство, но никогда он не прощал бескорыстной любви и искания тайны смерти. В этом смысле свободная от предрассудков современность немного дальше зашла, чем средневековье. Может быть, разница лишь в том, что мы, занятые практическими делами, утратили естественное чутье добра и зла. Мы теоретически даже убеждены, что колдунов и волхвов в наше время не бывает и быть не может. Наша уверенность и беспечность в этом отношении доходила до того, что почти все даже в Достоевском видели только художника и публициста и серьезно спорили с ним о том, нужны ли русскому народу розги и брать ли нам Константинополь.

Один Михайловский смутно догадывался, в чем тут дело, и называл автора “Карамазовых” кладоискателем. Я говорю смутно догадывался, ибо мне представляется, что это замечание было сделано покойным критиком отчасти в иносказательном, как будто даже в шутовском тоне. А меж тем, никто из других критиков Достоевского не обмолвился даже случайно более метким словом. И Чехов был кладоискателем, волхвом, кудесником, заклинателем. Этим объясняется его исключительное пристрастие к смерти, разложению, гниению, к безнадежности.

Не один Чехов, конечно, брал сюжетом для своих произведений смерть. Но дело не в сюжете, а в том, как сюжет трактуется. Чехов понимает это: “Во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, – рассказывает он, – нет чего-то общего, что связало бы все в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, литературе, учениках, даже во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, богом живого человека. А раз нет этого, значит нет ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья”. В приведенных словах выражается одна из самых “новых” мыслей Чехова – ею же определяется и все последующее творчество его. Выражена она в скромной, покаянной форме – человек признается в неспособности подчинить свои мысли высшей идее, и в такой неспособности видит свою слабость. И этого было достаточно, чтобы до некоторой степени отвести от него громы критики и суда общественного мнения. Кающихся грешников мы охотно прощаем! Совершенно напрасная снисходительность: недостаточно признать себя виновным, чтоб искупить свою вину. Что из того, что Чехов посыпал пеплом главу и публично признал себя “виноватым”, если внутренне он остался неизменным? Если в то время, когда он на словах признавал общую идею богом (правда, с маленькой буквы), он ровно ничего не сделал для нее. На словах воскуривает фимиам “богу”, на деле проклиная его. Прежде, до болезни “мировоззрение” приносило ему радость, теперь – разлетелось в клочья! Не естественно ли поставить вопрос: да приносило ли

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
ему “мировоззрение” когда бы то ни было радость? Может быть, радости имели свой собственный, автономный источник; а мировоззрение приглашалось только в качестве свадебного генерала, для внешней торжественности, и никогда никакой существенной роли не играло? Чехов обстоятельно рассказывает о том, какие радости ему приносили научные работы, занятия с учениками, семья, хороший обед и так далее. При всем этом присутствовало и мировоззрение с идеей, и не только не мешало, но как будто бы украшало жизнь. Так что казалось, что ради идеи и работаешь, и семью создаешь, и обедаешь. А теперь, когда приходится ради идеи бездействовать, мучиться, не спать по ночам, с отвращением глотать постылые куски – мировоззрение разлетелось в клочья! Выходит, стало быть, что мировоззрение с обедом годится, обед без мировоззрения тоже годится (это доказательство не требует), а мировоззрение *an und für sich*[2 – Само по себе и для себя (нем.).] не имеет никакой цены... В этом сущность приведенных слов Чехова. Он с ужасом признает в себе присутствие такой “новой” мысли. Ему кажется, что это только он такой слабый и ничтожный человек, что всех других – хлебом не корми, только подавай идеи и мировоззрения... Так оно, собственно, и выходит, если поверить тому, что люди в книгах рассказывают... Чехов всячески бичует, мучает и терзает себя, но дела изменить не может. Хуже того. Мировоззрения и идеи, к которым очень многие относятся довольно равнодушно – в сущности, другого отношения эти невинные вещи и не заслуживают – становятся для Чехова предметом тяжелой, неумолимой и беспощадной ненависти. Он не умеет сразу освободиться от власти идей, и потому начинает долгую, упорную и медленную, я бы сказал, партизанскую войну с поработившими его тиранами. Борьба его в общем и в отдельных эпизодах представляет собой захватывающий интерес именно вследствие того, что еще до сих пор наиболее видные представители литературы убеждены, что идеям присуща чудодейственная сила. Чем занимается большинство писателей? Строят мировоззрения – и полагают при этом, что занимаются необыкновенно важным, священным делом! Чехов оскорбил очень многих деятелей литературы! Если его все-таки относительно щадили, то это произошло, во-первых, оттого, что он был очень осторожен и воевал с таким видом, как будто приносил дань врагу, а во-вторых, таланту многое прощается.

IV

Содержание “Скучной истории”, таким образом, сводится к тому, что профессор, делясь своими “новыми” мыслями, в сущности, заявляет, что он не находит возможным признать над собой власть “идеи” и добросовестно выполнять то, что люди называют высшей целью и в служении чему принято видеть назначение, святое назначение человека. “Пусть меня судит Бог, – у меня не хватает мужества поступить по совести”[3 – “Скучная история”, с. 118.], – вот единственный ответ, который находит в своей душе Чехов на все требования “мировоззрения”. И такое отношение к мировоззрению становится второй природой Чехова. Мировоззрение требует, человек признает справедливость требований и методически не исполняет ни одного из них. Причем, признание справедливости требованиям постепенно идет на убыль. В “Скучной истории” идея еще судит человека и терзает его с той беспощадностью, которая свойственна всему неживому и неодухотворенному. Точно заноза, впившаяся в живое тело, чуждая и враждебная организму, идея безжалостно выполняет свою высокую миссию – до тех пор, пока у человека не созревает твердая решимость вырвать ее из себя, как бы болезненна ни была эта трудная операция. Уже в “Иванове” роль идеи меняется. Уже не она преследует Чехова, а Чехов преследует ее самыми отборными насмешками и презрением. Голос живой природы берет верх над наносными культурными привычками. Правда, борьба еще продолжается, если угодно, даже ведется с переменным счастьем. Но прежней покорности нет. Все больше и больше Чехов эмансипируется от прежних предрассудков и идет – куда? На этот вопрос он едва ли умел бы ответить. Но он предпочитает оставаться без всякого ответа, чем принять какой бы то ни было из традиционных ответов. “Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, меня теперь должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой замогильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум сознает всю их важность”. Ум снова, в противоположность тому, что было раньше, почтительно выталкивается за дверь, и его права передаются “душе”, темному, неясному стремлению, которому Чехов теперь, когда он стоит предроковой чертой, отделяющей человека от вечной тайны, инстинктивно доверяет больше, чем светлому, ясному сознанию, наперед предопределяющему даже замогильные перспективы.

Научная философия возмутится? Чехов подкапывается под незыблемейшие ее устои? Но ведь Чехов надорвавшийся, ненормальный человек. Его можно не слушать, но раз, что вы уже решились его выслушать, нужно наперед быть ко всему готовым. Нормальный человек, если он даже метафизик самого крайнего, заоблачного толка, всегда пригоняет свои теории к нуждам минуты; он разрушает лишь затем, чтобы потом вновь строить из прежнего материала. Оттого у него никогда не бывает недостатка в материале. Покорный основному человеческому закону, уже давно отмеченному и формулированному мудрецами, он ограничивается и довольствуется скромной ролью искателя форм. Из железа, которое он находит в природе готовым, он выковывает меч или плуг, копьё или серп. Мысль творить из ничего едва ли даже приходит ему в голову. Чеховские же герои, люди ненормальные *par excellence* [4 – Преимущественно (фр.)], поставлены в противополоственную, а потому страшную необходимость творить из ничего. Пред ними всегда безнадежность, безысходность, абсолютная невозможность какого бы то ни было дела. А меж тем, они живут, не умирают...

Тут является любопытный и необыкновенно важный вопрос. Я сказал, что противно человеческой природе творить из ничего. Но вместе с тем природа часто отнимает у человека готовый материал и вместе с тем повелительно требует от него творчества. Значит ли это, что природа противоречит самой себе? Что она извращает свои созданыя? Не правильнее ли допустить, что понятие об извращении имеет чисто человеческое происхождение? Может быть, природа гораздо экономнее и мудрее наших мудрецов и, может быть, мы узнали бы гораздо больше, если бы взамен того, чтоб делить людей на лишних и нелишних, полезных и вредных, добрых и злых, мы, подавив в себе на время склонность к субъективной оценке, попытались бы доверчивей отнестись к ее творениям? А то сейчас “недобрые огоньки”, кладоискатель, кудесник, колдун – и воздвигается между людьми стена, которую не только логическими доводами, но и пушками не разобьешь. Я мало надеюсь, что приведенное соображение покажется убедительным для тех, кто привык охранять норму. Да, вероятно, и не нужно, чтобы сгладились живущее меж людьми представление о принципиальной противоположности добра и зла, как не нужно, чтобы молодые рождались с жизненным опытом взрослых, чтоб исчезли с лица земли румянец и черные кудри. Во всяком случае, это невозможно. Много тысячелетий насчитывает мир, много народов жило и умирало на земле, но, насколько мы знаем по сохранившимся книгам и преданиям, спор добра со злом никогда не прекращался. И всегда было так, что добро не боялось дневного света, что добрые жили общественной, объединенной жизнью, а зло пряталось во мраке, и злые всегда были одинокими. Иначе и быть не может.

Чеховские герои все боятся света, чеховские герои – одиноки. Они стыдятся своей безнадежности и знают, что люди им не могут помочь. Они идут куда-то, может быть, и вперед, но никого за собой не зовут. У них все отнято, и они все должны создать. Вероятно, отсюда то нескрываемое презрение, с которым они относятся в наиболее ценным продуктам обыкновенного человеческого творчества. О чем бы вы ни заговорили с чеховским героем, у него на все один ответ: меня никто не может ничему научить. Вы предлагаете ему новое мировоззрение, но он с первых слов ваших уже чувствует, что все оно сводится к попытке на новый манер переложить старые кирпичи и камни, и нетерпеливо, часто грубо, отворачивается от вас. Чехов крайне осторожный писатель. Он боится общественного мнения и считается с ним. И все-таки, какую нескрываемую брезгливость проявляет он к принятым идеям и мировоззрениям. В “Скучной истории” он, по крайней мере, сохраняет внешне почтительный тон и позу. Впоследствии он бросает всякие предосторожности и вместо того, чтобы упрекать себя в неспособности покориться общей идее, открыто возмущается и даже высмеивает ее. Уже в “Иванове” это выражено в достаточной степени – недаром эта драма в свое время вызвала такую бурю негодования. Иванов, как я уже говорил, поконченный человек. Все, что может сделать с ним художник – это прилично похоронить его, т. е. похвалить его прошлое, пожалеть о настоящем и затем, чтобы смягчить безотрадное впечатление, производимое смертью – пригласить на похороны общую идею. Можно вспомнить о мировых задачах человечества в какой-либо из бесчисленных готовых форм – и трудный, казавшийся неразрешимым случай устранен. Наряду с умирающим Ивановым следовало бы нарисовать светлую, молодую, многообещающую жизнь, и впечатление смерти и разрушения потеряло бы всю свою остроту и горечь. Но Чехов поступает прямо наоборот: вместо того, чтобы дать молодости и идее власть над разрушением и смертью, как то делалось во всех философских системах и во многих художественных произведениях, он демонстративно делает центром всех событий ни на что негодную развалину Иванова. Наряду с Ивановым есть молодые жизни, идее тоже дан свой

представитель. Но молодая Саша, прелестная и обаятельная девушка, всей душой полюбившая разбитого героя, не только не спасает своего возлюбленного, но сама гибнет под бременем непосильной задачи. А идея? Достаточно вспомнить только фигуру доктора Львова, которому Чехов доверил ответственную роль представителя всемогущей властительницы, и вы сразу поймете, что он считает себя не подданным и данником ее, а злейшим врагом. Стоит доктору Львову разинуть рот, и все действующие лица, точно сговорившись, наперерыв самым оскорбительным образом торопятся оборвать его – насмешками, угрозами, чуть ли не подзатыльниками. А между тем, юный доктор исполняет свои обязанности представителя великой державы не менее умело и добросовестно, чем его предшественники – Стародумы и другие почтенные герои старинной драмы. Он вступает за обиженных, хочет восстановить поправные права, возмущается неправдой и т. д. Разве он вышел за пределы своих полномочий? Нет, конечно. Но там, где царствуют Ивановы и безнадежность, нет и не может быть места для идеи.

Вместе жить им невозможно. И на глазах у изумленного читателя, привыкшего думать, что все царства могут пасть и погибнуть, и что лишь мощь царства идеи несокрушима in s'cula s'culorum – происходит неслыханное зрелище: идея свергается с трона беспомощным, разбитым, ни на что негодным человеком! Чего только не наговорил Иванов! Уже с первого действия он выпаливает такую тираду и не перед первым встречным, а перед олицетворенной идеей – Стародумом Львовым: “Я имею право вам советовать. Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишнего звуков. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены. Да хранит вас Бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей... Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое. Богом данное дело... Это теплее, честнее и здоровее”. Доктор Львов, представитель всемогущей, самодержавной идеи, чувствует, что его повелительница оскорблена в своих державных правах, что терпеть подобные оскорбления значит фактически отказаться от суверенитета. Ведь Иванов был и должен оставаться вассалом. Как повернулся у него язык советовать, как смел он возвысить голос там, где он должен был благоговейно слушать и безмолвно, безропотно повиноваться?! Ведь это бунт! Львов пытается выпрямиться во весь рост и с достоинством ответить дерзкому мятежнику. Но у него ничего не выходит. Дрожащим, нетвердым голосом он бормочет привычные слова, которые еще так недавно имели всепобеждающую силу. Но они не оказывают обычного действия. Их сила ушла. Куда? Львов даже и признаться себе не смеет: к Иванову. И это уже ни для кого больше не тайна. Каких бы подлостей и гадостей ни наделал Иванов – а Чехов не скупится в этом смысле, и в послужном списке его героя значатся всевозможные преступления, вплоть до почти сознательного убийства преданной ему женщины – все же перед ним, а не перед Львовым склоняется общественное мнение. Иванов – дух разрушения, грубый, резкий, безжалостный, ни перед чем не останавливающийся. А слово “подлец”, которое с мучительным усилием вырывает из себя и посылает ему доктор, к нему не пристает. Он как-то прав своей особенной, никому непонятной, но бесспорной, если верить Чехову, правотой. Саша, молодое, чуткое, даровитое существо, идет к нему поклониться, равнодушно минуя фигуру честного Стародума-Львова. Вся драма на этом построена. Иванов, правда, под конец стреляется – и это, если угодно, может дать формальное основание думать, что окончательная победа все-таки осталась за Львовым. И Чехов хорошо сделал, что так закончил пьесу – не затягивать же ее до бесконечности. А досказать историю Иванова дело не легкое. Чехов потом еще 15 лет писал, все досказывал недосказанное, а все-таки пришлось оборвать, не дойдя до конца...

Тот, кто вздумал бы обращенные Ивановым к Львову слова истолковывать в том смысле, что Чехов, подобно Толстому времени “Войны и мира”, видел в обыденном устройстве жизни свой “идеал”, плохо понял бы автора. Чехов только оборонялся против “идеи” и говорил ей самое обидное, что приходило в голову. Ибо что может быть обиднее для идеи, чем выслушивать похвалу обыденности?! Но при случае Чехов умел не менее ядовито обрисовать и обыденность. К примеру, хотя бы рассказ “Учитель словесности”. Учитель совсем живет по преподанному Ивановым рецепту. И служба, и жена Манюся – не еврейка, не психопатка, не синий чулок, – и дом-раковина и т. д., и все это не мешает Чехову полегоньку да помаленьку загнать бедного учителя в обычную западную мышеловку, довести его до такого состояния, что остается только “упасть на пол, кричать и биться головой о пол”. У Чехова “идеала” не было, даже идеала обыденности, который с таким неподражаемым, несравненным

мастерством воспел в своих ранних произведениях граф Толстой. Идеал предполагает подчинение, добровольный отказ от своих прав на независимость, свободу и силу – такого рода требования, даже намеки на такого рода требования возбуждали в Чехове всю силу отвращения и омерзения, на которые только он был способен...

V

Итак, настоящий, единственный герой Чехова – это безнадежный человек. “Делать” такому человеку в жизни абсолютно нечего – разве колотиться головой о камни. Нет ничего удивительного, что такой человек невыносим для окружающих. Он всюду вносит смерть и разрушение. Он сам это знает, но не в силах сторониться от людей. Он всей душой стремится вырваться из своего ужасного положения. Больше всего его влечет к свежим, молодым, нетронутым существам: он надеется с их помощью вернуть свое утраченное право на жизнь. Напрасная надежда! Начало разрушения всегда оказывается всепобеждающим, и чеховский герой, в конце концов, остается предоставленным самому себе. У него ничего нет, он все должен создать сам. И вот “творчество из ничего”, вернее, возможность творчества из ничего – единственная проблема, которая способна занять и вдохновить Чехова. Когда он обобрал своего героя до последней нитки, когда герою остается только колотиться головой о стену, Чехов начинает чувствовать нечто вроде удовлетворения, в его потухших глазах зажигается странный огонь, недаром показавшийся Михайловскому недобрый. Творчество из ничего! Не выходит ли эта задача за пределы человеческих сил, человеческих прав? Для Михайловского, очевидно, не было двух ответов на этот вопрос... Что до самого Чехова, то если бы ему предложили этот вопрос в такой умышленно резкой формулировке, – он, вероятно, не умел бы на него ответить, хотя постоянно имел с ним дело или, лучше сказать, потому что постоянно имел с ним дело. Можно, не боясь ошибиться, сказать, что те люди, которые без колебаний отвечают на него в том или ином смысле, никогда близко не подходили к нему, да и вообще ко всем так называемым последним вопросам бытия. Колебание – необходимый составной элемент в суждениях человека, которого судьба подводила к роковым задачам. Как дрожала рука у Чехова, когда он дописывал заключительные строки своей “Скучной истории”! Воспитанница профессора, – самое близкое и дорогое ему, но такое же надорванное, потерявшее надежды, хотя еще молодое существо – приехала к нему за советом в Харьков. И вот между ними происходит следующий разговор:

– Николай Степанович! – говорит она, бледнея и сжимая на груди руки. – Николай Степанович! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного Бога, скажите скорей, сию минуту, что мне делать? Говорите, что мне делать?

– Что же я могу сказать? – недоумеваю я. – Ничего я не могу.

– Говорите, умоляю вас! – продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. – Клянусь вам, что я не могу дольше так жить. Сил моих нет!

Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топчет ногами; шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась.

– Помогите мне, помогите! – умоляет она.

– Не могу я дольше!

– Ничего я не могу сказать тебе, Катя, – говорю я.

– Помогите! – рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. – Ведь вы мой отец, мой единственный друг. Ведь вы умны, образованы, долго жили! Вы были учителем! Говорите же, что мне делать?

– По совести, Катя, не знаю.

Я растерялся, сконфузился, тронут рыданиями Кати и едва стою на ногах.

– Давай, Катя, завтракать, – говорю я, натянуто улыбаясь. – Будет плакать!

И тотчас же прибавляю упавшим голосом:

– Меня скоро не станет, Катя...

– Хоть одно слово, хоть одно слово! – плачет она, протягивая ко мне руки..."

Но этого слова не нашлось у профессора. Он переводит разговор на погоду, Харьков и прочие безразличные вещи. Катя встает и, не глядя на него, протягивает ему руку. "Мне хочется спросить, кончает он свой рассказ: значит, на похоронах у меня не будешь? Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая... Я молча провожаю ее до дверей. Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед и, вероятно, на повороте оглянется. Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!"... "Не знаю", только этими словами умеет ответить на вопрос Кати умный, образованный, долго живший, всю жизнь свою бывший учителем Николай Степанович! Во всем его огромном опыте прошлых лет не находится ни одного приема, правила или совета, который бы хоть сколько-нибудь соответствовал дикой несообразности новых условий его собственного и катиного существования. Катя не может больше так жить, но и он сам не может дольше выносить своей отвратительной и позорной беспомощности. Они оба – он старый, она молодая – оба всей душой хотели бы поддержать друг друга, и оба ничего не умеют придумать. На ее "что мне делать" он отвечает: "меня скоро не станет", т. е. вопросом же, на его "меня скоро не станет" она отвечает безумным рыданием, ломанием рук и нелепым повторением одних и тех же слов. Лучше было бы ни о чем не спрашивать, не начинать "душевного", откровенного разговора. Но они еще в этом не дали себе отчета. В их прежней жизни разговор облегал, откровенные признания сближали. Теперь наоборот: после такого свидания люди уже не в состоянии выносить друг друга. Катя уходит от старого профессора, от своего приемного, от своего родного отца и друга с сознанием, что он ей стал чужим. Она даже, уходя, не обернулась к нему. Оба почувствовали, что им осталось только колотиться головой об стену. В этом занятии каждый действует за свой страх, и об утешающем единении душ уже нельзя мечтать...

VI

Чехов знал, до чего он договорился в "Скучной истории" и в "Иванове". Некоторые критики тоже знали и поставили ему это на вид. Не берусь сказать, что именно – боязнь ли общественного мнения, или ужас пред сделанными открытиями, или то и другое вместе, но, очевидно, у Чехова был момент, когда он решил во что бы то ни стало покинуть занятую им позицию и повернуть назад. Плодом такого решения была "Палата № 6". В этом рассказе действующим лицом является все тот же знакомый нам чеховский человек, доктор. И обстановка довольно привычная, хотя несколько измененная. В жизни доктора ничего особенного не произошло. Он попал в провинциальную дыру и постепенно, все сторонясь от людей и жизни, дошел до состояния совершенной безвольности, которая в его представлении стала идеалом человеческого существования. Он ко всему равнодушен, начиная со своей больницы, в которой он почти не бывает, где царствует пьяный и грубый фельдшер, где обирают, залечивают больных.

В психиатрическом отделении хозяйничает сторож из отставных солдат, справляющийся кулаками с беспокойными пациентами. Доктору – все равно, точно он живет где-то далеко, в ином мире и не понимает того, что происходит на его глазах. Случайно попадает он в психиатрическое отделение и вступает в беседу с одним из больных. Больной жалуется ему на порядки, точнее, на отвратительные беспорядки в отделении. Доктор спокойно выслушивает его слова, но реагирует на них не делом, а словами же. Он пытается доказать своему сумасшедшему собеседнику, что внешние условия не могут на нас иметь никакого влияния. Сумасшедший не соглашается, говорит ему дерзости, представляет возражения, в которых, как в мыслях многих помешанных, наряду с бессмысленными утверждениями встречаются очень глубокие замечания. Даже, пожалуй, первых очень мало, так что по разговору и не догадаешься, что имеешь дело с больным. Доктор в восторге от своего нового знакомства, но пальцем о палец не ударит, чтоб облегчить чем-нибудь его. Теперь, как и прежде, несчастный находится во власти сторожа, который при малейшем неповиновении бьет его. Больной, доктор, окружающие, вся обстановка больницы и квартиры доктора описаны с удивительным талантом. Все

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
настраивает к абсолютному несопротивлению и фаталистическому равнодушию: пусть пьянствуют, дерутся, грабят, насильничают – все равно, так, видно, предопределено на высшем совете природы. Исповедуемая доктором философия бездействия точно подсказана и нашептана неизменными законами человеческого существования. Кажется, нет сил вырваться из ее власти. До сих пор все более или менее в чеховском стиле. Но конец – совсем иного рода. Доктор сам, благодаря интригам своего коллеги, попадает в психиатрическое отделение больницы в качестве пациента. Его лишают свободы, запирают в больничном флигеле и даже бьют, бьет тот самый сторож, с которым он учил мириться своего сумасшедшего собеседника и на глазах у этого собеседника. Доктор мгновенно пробуждается, точно от сна. В нем является жажда борьбы, протеста. Правда, он тут же умирает, но идея все-таки торжествует. Критика могла считать себя вполне удовлетворенной – Чехов открыто покаялся и отрекся от теории непротivления. И, кажется, “Палату № 6” в свое время очень сочувственно приняли. Кстати прибавим, что доктор умирает очень красиво: в последние минуты видит стадо оленей и т. п.

И в самом деле, построение рассказа не оставляет сомнения. Чехов хотел уступить и уступил. Он почувствовал невыносимость безнадежности, невозможность творчества из ничего. Колотиться головой о камни, вечно колотиться головой о камни это так ужасно, что лучше уже вернуться к идеализму. Оправдалась дивная русская поговорка: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Чехов примкнул к сонму русских писателей и стал воспевать идею. Но – ненадолго! Ближайший по времени рассказ его “Дуэль” носит уже иной характер. Развязка в нем тоже как будто бы идеалистическая, но только как будто бы. Главный герой, Лаевский – “паразит”, как все чеховские герои. Он ничего не делает и ничего делать не умеет, даже не хочет, живет наполовину на чужой счет, входит в долги, соблазняет женщин и т. д. Положение его невыносимое. Живет с чужой женой, которая опостылела ему, как и собственная особа, но от которой он не умеет избавиться, вечно нуждается и кругом в долгах, знакомые его не любят и презирают. Он всегда так чувствует себя, что готов бежать без оглядки, все равно куда, лишь бы уйти с того места, где он сейчас живет. И его незаконная жена приблизительно в таком же, если не более ужасном, состоянии. Неизвестно зачем, без любви, даже без влечения она отдается первому встречному пошляку. Потом ей кажется, что ее с ног до головы облили грязью, и эта грязь так пристала к ней, что не смоешь даже целым океаном воды. И вот такая парочка живет на свете в глухом городке Кавказа и, естественно, привлекает внимание Чехова. Тема интересная, что и говорить: два облитых грязью человека, не выносящих ни себя, ни других...

Для контраста Чехов сталкивает Лаевского с зоологом фон-Кореном, приехавшим в приморский город по важному, всеми признаваемому важному делу – изучать эмбриологию медузы. Фон-Корен, как видно по фамилии, из немцев, стало быть, нарочито здоровый и нормальный, чистый человек, потомок гончаровского Штольца, прямая противоположность Лаевскому, в свою очередь состоящему в близком родстве со стариком Обломовым. Но у Гончарова противопоставление Обломову Штольца имело совсем иной характер и смысл, чем у Чехова. Романист 40-х годов надеялся, что сближение с западной культурой обновит и воскресит Россию. И сам Обломов изображен не совсем еще безнадежным человеком. Он только ленив, неподвижен, непредприимчив. Кажется, проснись он – он десяток Штольцев за пояс заткнет. Иное дело Лаевский. Этот уже проснулся, давно проснулся – но его пробуждение не принесло с собой добра... “Природы он не любит, Бога у него нет, все доверчивые девочки, которых он знал, сгублены им или его сверстниками, в родном саду своем он за всю жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал”. Добродушный увалень Обломов выродился в отвратительную и страшную гадину. А чистый Штолец жив и остался в своих потомках чистым! Только с новыми Обломовыми он уже иначе разговаривает. Фон-Корен называет Лаевского негодяем и мерзавцем и требует к нему применения самых строгих кар. Помирить Корена с Лаевским невозможно. Чем чаще им приходится сталкиваться меж собой, тем глубже, неумолимей и беспощадней они ненавидят друг друга. Вместе жить им на земле нельзя. Одно из двух: либо нормальный фон-Корен, либо вырожденец декадент Лаевский. Причем вся внешняя, материальная сила на стороне фон-Корена, конечно. Он всегда прав, всегда побеждает, всегда торжествует и в поступках своих и в теориях. Любопытная вещь: Чехов – непримиримый враг всякого рода философии. Ни одно из действующих лиц в его произведениях не философствует, а если философствует, то обыкновенно неудачно, смешно, слабо, неубедительно. Исключение представляет фон-Корен, типический представитель позитивно-материалистического направления. Его слова дышат силой, убеждением. В них есть даже пафос и максимум логической последовательности.

В рассказах Чехова много героев материалистов, но с оттенком скрытого идеализма, по выработанному в 60-х годах шаблону. Таких Чехов держит в черном теле и высмеивает. Идеализм во всех видах, явный и тайный, вызывал в Чехове чувство невыносимой горечи. Ему легче было выслушивать беспощадные угрозы прямолинейного материализма, чем принимать худосочные утешения гуманизирующего идеализма. Есть в мире какая-то непобедимая сила, давящая и уродующая человека – это ясно до осязаемости. Малейшая неосторожность, и самый великий, как и самый малый, становится ее жертвой. Обманывать себя можно только до тех пор, пока знаешь о ней только понаслышке. Но кто однажды побывал в железных лапах необходимости, тот навсегда утратил вкус к идеалистическим самообольщениям. Он уже не уменьшает – он, скорей, склонен преувеличивать силу врага. А чистый, последовательный материализм, который проповедует фон-Корен, наиболее полно выражает нашу зависимость от стихийных сил природы. Фон-Корен говорит, точно молотом бьет, и каждый его удар попадает не в Лаевского, а в Чехова, в самые больные места его. Он дает Корену все больше и больше сил, он сам подставляет себя под его удары. Зачем? Почему? А вот подите же! Может быть, жила в Чехове тайная надежда, что самоистязание для него единственный путь к новой жизни? Он этого нам не сказал. Может, и сам не знал, а может быть, боялся оскорбить позитивистический идеализм, так безраздельно властвующий в современной литературе. Он не смел еще выступать против европейского общественного мнения – ведь наши философские мировоззрения не нами выдуманы, а занесены к нам из Европы! И, чтобы не спорить с людьми, он придумал для своего страшного рассказа шаблонную, утешительную развязку. В конце рассказа Лаевский “исправляется”, женится на своей любовнице, бросает беспутную жизнь и начинает старательно переписывать бумаги, чтоб уплатить долги. Нормальные люди могут быть вполне удовлетворены, ибо нормальные люди в басне читают только последние строчки – мораль, а мораль “дуэли” самая здоровая: Лаевский исправился и стал бумаги переписывать. Правда, может показаться, что такого рода конец больше похож на насмешку над моралью, но нормальные люди не слишком пронизательные психологи; они боятся двойственности и с присущей им “искренностью” все слова писателя принимают за чистую монету. В добрый час!

VII

Единственная философия, с которой серьезно считался и потому серьезно боролся Чехов – был позитивистический материализм. Именно позитивистический, т. е. ограниченный, не претендующий на теоретическую законченность. Всем существом своим Чехов чувствовал страшную зависимость живого человека от невидимых, но властных и явно бездушных законов природы, а ведь материализм, в особенности научный материализм, сдержанный, не гонящийся за последним словом и логической закругленностью, целиком сводится к обрисовке внешних условий нашего существования. Ежедневный, ежечасный, даже ежеминутный опыт убеждает нас, что одинокий слабый человек, сталкиваясь с законами природы, постоянно должен приспособляться и уступать, уступать, уступать. Нельзя старому, профессору вернуть свою молодость, нельзя надорвавшемуся Иванову скрепить себя, нельзя Лаевскому отмыть облепившую его грязь и т. д., без конца ряд неумолимых, чисто материалистических “нельзя”, против которых человеческий гений не умеет выставить ничего, кроме покорности или забвения. *Resigne-toi, mon s'ur, dors ton sonneil de brute* – иных слов мы не найдем пред лицом картин, развернувшихся в чеховских произведениях. Покорность внешняя, а под ней затаенная, тяжелая, злобная ненависть к неведомому врагу. Сон, забвение только кажущиеся – ибо разве спит, разве забывается человек, который свой сон называет *sommeil de brute*? Но как быть иначе? Бурные протесты, которыми наполнена “Скучная история”, потребность излить наружу накопившееся негодование скоро начинают казаться ненужными и даже оскорбительными для человеческого достоинства. Последняя протестующая пьеса Чехова – “Дядя Ваня”. Дядя Ваня, как старый профессор, как Иванов, бьет в набат, поднимает неслыханную тревогу по поводу своей загубленной жизни. Тоже не своим голосом он вопит на всю сцену: пропала жизнь, пропала жизнь, – точно и в самом деле кто-нибудь из окружающих его людей, кто-нибудь во всем мире может быть в ответе по поводу его беды. Ему мало крика и воплей. Он осыпает оскорблениями родную мать. Как безумный, без всякой цели, без всякой нужды он начинает палить из револьвера в своего воображаемого врага, жалкого и несчастного старика, отца некрасивой Сони. Собственного голоса ему мало, и он прибегает к револьверу. Он готов был бы палить из всех пушек, какие есть на свете, бить во все барабаны, звонить во все колокола. Ему кажется, что

все люди, весь мир спит, что нужно разбудить близких. Он готов на какую угодно нелепость, ибо разумного выхода для него нет, а сразу признаться, что нет выхода – на это ни один человек не способен. И начинается чеховская история: примириться невозможно, не примириться тоже невозможно, остается колотиться головой о стену. Сам дядя Ваня проделывает это открыто, на людях, но как потом больно ему вспоминать о своей невоздержанной откровенности! Когда все разъезжаются после бессмысленной и мучительной сцены, дядя Ваня понимает, что молчать нужно было, что нельзя признаваться никому, даже самому близкому человеку в известных вещах. Посторонний глаз не выносит зрелища безнадежности. “Проворонил жизнь” – пеняй на себя: ты уже больше не человек, все человеческое тебе чуждо. И ближние для тебя уже не ближние, а чужие. Ты не вправе ни помогать другим, ни ждать от других помощи. Твой удел абсолютное одиночество. Понемногу Чехов убеждается в этой “истине”: дядя Ваня – последний опыт шумного, публичного протеста, вызывающей “декларации прав”. Даже и в этой пьесе неистовствует один дядя Ваня – хотя в числе действующих лиц есть и доктор Астров, и бедная Соня, которые тоже вправе были бы бушевать и даже из пушек палить. Но они молчат. Они даже повторяют какие-то хорошие, ангельские слова на тему о счастливом будущем человечества – иначе выражаясь, они удвоенно молчат, ибо в устах таких людей “хорошие слова” обозначают совершенную оторванность от мира; они ушли от всех и никого к себе не подпускают. Хорошими словами они, как китайской стеной, оградили себя от любопытства и любознательности ближних. Снаружи они похожи на всех – значит, внутренней их жизни никто коснуться не смеет...

Какой смысл, какое значение этой напряженной внутренней работы поконченных людей? Чехов, вероятно, на этот вопрос ответил бы теми же словами, какими Николай Степанович отвечал на вопросы Кати: “Не знаю”. Больше бы он ничего не прибавил. Но эта жизнь, больше похожая на смерть, чем на жизнь – она одна только привлекала и занимала его. Оттого и речь его из году в год становилась тише и медлительнее. Среди наших писателей – Чехов тишайший писатель. Вся энергия героев его произведений направлена вовнутрь, а не наружу. Они ничего видимого не создают, хуже того – они все видимое разрушают своей внешней пассивностью и бездействием. “Положительный мыслитель” вроде фон-Корена без колебания клеймит их страшными словами, тем более довольный собой и своей справедливостью, чем больше энергии вкладывает он в свои выражения. “Мерзавцы, подлецы, вырождающиеся, макаки” и т. д., чего только ни придумал фон-Корен по поводу Лаевских! Явный положительный мыслитель хочет принудить Лаевского переписывать бумаги. Неявные положительные мыслители, т. е. идеалисты и метафизики, бранных слов не употребляют. Зато они заживо хоронят чеховских героев на своих идеалистических кладбищах, именуемых мировоззрениями. Сам же Чехов от “разрешения вопроса” воздерживается с настойчивостью, которой большинство критиков, вероятно, желало бы лучшей участи, и продолжает свои длинные, бесконечно длинные рассказы о людях, о жизни людей, которым нечего терять – точно в мире только и было интересного, что это кошмарное висение между жизнью и смертью. О чем говорит оно нам? О жизни, о смерти? Опять нужно ответить “не знаю”, теми словами, которые возбуждают наибольшее отвращение положительных мыслителей, но которые загадочным образом являются постоянным элементом в суждениях чеховских людей. Оттого им так близка враждебная им материалистическая философия. В ней нет ответа, обязывающего к радостной покорности. Она бьет, уничтожает человека – но она не называет себя разумной, не требует себе благодарности, ей ничего не нужно, ибо она бездушна и бессловесна. Ее можно признавать и вместе ненавидеть. Удастся справиться с ней человеку – он прав; не удастся – v? victis[5 – Горе побежденным (лат.)]. Как отрадно звучит голос откровенной беспощадности неодоушевленной, безличной, равнодушной природы сравнительно с лицемерно сладкими напевами идеалистических, человеческих мировоззрений! А затем, и это самое главное, с природой все-таки возможна борьба! И в борьбе с природой все средства разрешаются. В борьбе с природой человек всегда остается человеком и, стало быть, правым, что бы он ни предпринял для своего спасения. Даже, если бы он отказался признать основной принцип мироздания – неуничтожимость материи и энергии, закон инерции и т. д. Ибо самая колоссальная мертвая сила должна служить человеку, кто станет оспаривать это? Иное дело “мировоззрение”! Прежде, чем изречь слово, оно ставит неоспоримое требование: человек должен служить идее. И это требование считается мало того, что само собою разумеющимся – еще необыкновенно возвышенным. Удивительно ли, что в выборе между идеализмом и материализмом Чехов склонился на сторону последнего – сильного, но честного противника? С идеализмом можно бороться только презрением, и в этом смысле сочинения Чехова не оставляют ничего желать... Как бороться с

материализмом? И можно ли его победить? Может быть, читателю покажутся странными приемы Чехова, но, очевидно, он пришел к убеждению, что есть только одно средство борьбы, к которому прибегали уже древние пророки: колотиться головой о стену. Без грома, без пальбы, без набата, одиноко и молчаливо, вдаль от ближних, своих и чужих, собрать все силы отчаяния для бессмысленной и давно осужденной наукой и здравым смыслом попытки. Но разве от Чехова вы вправе были ждать санкции научной методологии? Наука отняла у него все: он осужден на творчество из ничего, т. е. на такое дело, на которое нормальный человек, пользующийся только нормальными приемами, абсолютно неспособен. Чтобы сделать невозможное, нужно прежде всего отказаться от рутинных приемов. Как бы упорно мы ни продолжали научные изыскания, они не дадут нам жизненного эликсира. Ведь наука с того и начала, что отбросила, как принципиально недостижимое, стремление к человеческому всемогуществу: ее методы таковы, что успехи в одних областях исключают даже искания в других. Иначе говоря, научная методология определяется характером задач, поставляемых себе наукой. И действительно, ни одна из ее задач не может быть достигнута колочением головой о стену. Этот хотя и не новый метод (повторяю, его уже знали, им пользовались пророки) для Чехова и его героев обещает больше, чем все индукции и дедукции (к слову сказать, тоже не выдуманные наукой, а существующие с основания мира). Он подсказывает человеку таинственным инстинктом и каждый раз, когда в нем является надобность, он является на сцену. А что наука осуждает его, в этом нет ничего странного. Он в свою очередь осуждает науку.

VIII

Теперь, может быть, станет понятным дальнейшее развитие и направление чеховского творчества и то характерное для него и не повторяющееся у других сочетание “трезвого” материализма с фанатическим упорством в искании новых, всегда окольных и проблематических путей. Он, как Гамлет, хочет подвести под своего противника “подкоп аршином глубже”, чтобы разом взорвать на воздух и инженера, и его строение. Терпение и выдержка его при этой тяжелой, подземной работе прямо изумительны и для многих невыносимы. Везде тьма, ни одного луча, ни одной искры, а Чехов идет вперед медленно, едва-едва подвигаясь. Неопытный, нетерпеливый взор, может быть, совсем и не заметит движения. Да, пожалуй, и сам Чехов не знает наперед, подвигается ли он вперед или топчется на одном месте. Рассчитывать вперед нельзя. Нельзя даже и надеяться. Человек вступил в ту полосу своего существования, когда разум, загадывающий вперед и ободряющий, отказывает в своих услугах. Нет возможности составить себе ясное и отчетливое представление о происходящем. Все принимает фантастически бессмысленную окраску. Всему веришь и не веришь. В “Черном монахе” Чехов рассказывает о новой действительности и таким тоном, как будто сам недоумевает, где кончается действительность и начинается фантазмагория. Черный монах влечет молодого ученого куда-то в таинственную даль, где должны осуществиться лучшие мечты человечества. Окружающие люди называют монаха галлюцинацией и борются с ним медицинскими средствами – бромом, усиленным питанием, молоком. Сам Коврин не знает, кто прав. Когда он беседует с монахом, ему кажется, что прав монах, когда он видит перед собой рыдающую жену и серьезные, встревоженные лица докторов, он признается, что находится во власти навязчивых идей, ведущих его прямым путем к помешательству. Побеждает в конце концов черный монах. Коврин не в силах выносить окружающую его обыденность, разрывает с женой и ее родными, которые ему кажутся палачами, и идет куда-то, но не приходит на наших глазах никуда. Под конец рассказа он умирает, чтоб дать автору право поставить точку. Это всегда так бывает: когда автор не знает, что делать с героем, он убивает его. Вероятно, рано или поздно этот прием будет оставлен. Вероятно, в будущем писатели убедят себя и публику, что всякого рода искусственные закругления – вещь совершенно ненужная. Истощился материал – оборви повествование, хотя бы на полуслове. Чехов иногда так и делал – но только иногда. Большею же частью он предпочитал, во исполнение традиционных требований, давать читателям развязку. Этот прием не так безразличен, как может показаться на первый взгляд, ибо он вводит в заблуждение. Взять хотя бы “Черного монаха”. Смерть героя является как бы указанием, что всякая ненормальность, по мнению Чехова, ведет обязательно через нелепую жизнь к нелепой смерти. Меж тем, едва ли Чехов был твердо в этом убежден. По-видимому, он чего-то ждал от ненормальности и оттого уделял так много внимания выбитым из колеи людям. К прочным, определенным заключениям он, правда, не пришел – несмотря на все напряжение творчества.

Он убедился, что выхода из запутанного лабиринта нет, что лабиринт, неопределенные блуждания, вечные колебания и шатания, беспричинное горе, беспричинные радости, словом, все, чего так боятся и избегают нормальные люди, стало сущностью его жизни. Об этом и только об этом нужно рассказывать. Не мы выдумали нормальную жизнь, не мы выдумали ненормальную жизнь. Почему же только первую считают настоящей действительностью?..

Одним из самых характерных для Чехова, а потому и замечательных его произведений должна считаться его драма “Чайка”. В ней с наибольшей полнотой получило свое выражение истинное отношение художника к жизни. Здесь все действующие лица либо слепые, боящиеся сдвинуться с места, чтоб не потерять дорогу домой, либо полусумасшедшие, рвущиеся и мятущиеся неизвестно куда и зачем. Знаменитая артистка Аркадьина словно зубами вцепилась в свои семьдесят тысяч, свою славу и последнего любовника. Тригорин – тоже известный писатель, изо дня в день пишет, пишет, пишет, не зная, для чего и зачем он это делает. Люди читают и хвалят его произведения, и он не принадлежит себе; он, как перевозчик Марко в сказке, не покладая рук работает, переезжая и перевозя пассажиров с берега на берег. И река, и лодка, и пассажиры до смерти надоели – но как от них избавиться? Бросить весла первому встречному – это решение так просто, но за ним, как в сказке, нужно идти на небо. Не только Тригорин, все не слишком молодые люди в сочинениях Чехова напоминают перевозчика Марко. Их дело им явно ненужно, но они, точно загипнотизированные, не могут вырваться из власти чуждой им силы. Однообразный, ровный, унылый ритм жизни усыпил их сознание и волю. Чехов повсюду подчеркивает эту странную и загадочную черту человеческой жизни. У него люди всегда говорят, всегда думают, всегда делают одно и то же. Тот строит дома по раз выдуманному шаблону (“Моя жизнь”), другой с утра до вечера разъезжает по визитам, собирая рубли (“Июныч”), третий скупает дома (“Три года”). Даже язык действующих лиц умышленно однообразен по поговорке – заладила сорока Якова, твердит про всякого. Кто неизменно, при случае и без случая, твердит “недурственно”, кто “хамство” и т. д. Все однообразны до одурения и все боятся нарушить это одуряющее однообразие, точно в нем таится источник необычайных радостей. Прочтите монолог Тригорина: “... давайте говорить... Будем говорить о моей прекрасной жизни... Ну-с, с чего начать? (подумав немного). Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть такая своя луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен. Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что это за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на роаль. Пахнет гелиотропом. Скорей мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться – ан нет: в голове уже ворочается тяжелое, чугунное ядро – новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить писать и опять писать. И так всегда, всегда и нет мне покоя от самого себя и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то, я обирую пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мной, как со здоровым? “Что пишете? Чем нас подарите?” Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение, все это обман, меня обкрадывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом”. Зачем же все это? Брось весла и начни другую жизнь. Нельзя – пока с неба не придет ответ, Тригорин не бросит весел, не начнет новой жизни. О новой жизни у Чехова говорят только молодые, очень молодые и неопытные люди. Им все грезится счастье, обновление, свет, радости. Они летят, очертя голову, на огонь и сгорают, как сгорают неразумные бабочки. В “Чайке” Нина Заречная и Треплев, в других произведениях другие герои, женщины и мужчины. Все чего-то ищут, к чему-то стремятся, но все делают не то, что нужно. Все живут врозь, каждый целиком поглощен своею жизнью и равнодушен к жизни других. И странная судьба чеховских героев: они напрягают до последней степени возможности свои внутренние силы, но внешних результатов не получают никаких. Все они жалки. Женщина нюхает табак, неряшливо одета, не причесана, неинтересна. Мужчина раздражается, брюзжит, пьет водку, надоедает окружающим. Говорят нехотели, действуют нехотели. Приспособить к себе внешний мир не умеют, я готов сказать, не хотят. Материя и энергия

сочетаются по собственным законам – люди живут по собственным, как будто бы материи и энергии совсем и не было. В этом отношении чеховская интеллигенция ничем не отличается от неграмотных мужиков и полуграмотных мещан. В усадьбе живут так же, как и в овраге, как и в деревне. Никто не верит, что, изменив внешние условия, можно изменить и свою судьбу. Везде царит, хотя и не сознательное, но глубокое и неискоренимое убеждение, что воля должна быть направлена к целям, ничего общего с устройением человечества не имеющим. Хуже – устройство кажется врагом воли, врагом человека. Нужно портить, грызть, уничтожать, разрушать. Спокойно обдумывать, предугадывать будущее – нельзя! Нужно колотиться, без конца колотиться головой о стену. К чему это приведет? И приведет ли к чему-нибудь? Конец это или начало? Можно видеть в этом залог нового, нечеловеческого творчества, творчества из ничего? “Не знаю”, ответил старый профессор рыдающей Кате. Не знаю, – отвечал Чехов всем рыдающим и замученным людям. Этими – и только этими словами можно закончить статью о Чехове. *Resigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute.*

Пророческий дар (к 25-летию смерти Ф. М. Достоевского)

I

Владимир Соловьев называл Достоевского пророком, даже пророком Божиим. Вслед за Соловьевым, часто, впрочем, совершенно от него независимо, очень многие смотрели на Достоевского, как на человека, пред которым лежали открытыми книги человеческих судеб. И это не только после его смерти, но даже еще при жизни. По-видимому, и сам Достоевский если и не считал себя пророком (для этого он был слишком пронизателен), то, во всяком случае, полагал, что всем людям следует видеть в нем пророка. Об этом свидетельствует и тон “дневника писателя”, и вопросы, которых он там обыкновенно касался. Дневник писателя стал появляться с 1873 года, т. е. по возвращении Достоевского из-за границы, и, стало быть, совпадает с тем периодом его жизни, который биографы называют “самым светлым”. Достоевский – счастливый семьянин, обеспеченный человек, знаменитый писатель, автор целого ряда всеми замеченных романов – “Записок из мертвого дома”, “Идиота”, “Бесов”. Все, что нужно, вернее, можно взять от жизни – взято. Помните рассуждения Толстого в “Исповеди”? Ну, я буду таким знаменитым, как Пушкин, Гоголь, Гете, Шекспир, наконец, – “а что же дальше”? И в самом деле, трудно стать писателем более знаменитым, чем Шекспир – да если бы и удалось, то этим неизбежный вопрос – “что же дальше?” – нисколько бы не был устранен. В писательской деятельности замечательного писателя рано или поздно наступает момент, когда дальнейшее совершенствование оказывается невозможным. Как быть замечательнее самого себя на литературном поприще? Если хочешь двигаться, приходится волей-неволей переходить в другую плоскость. Так, по-видимому, всегда начинается пророчество у писателей. По общему признанию, пророк больше, чем писатель, а от общих мнений гениальность далеко не всегда застраховывает. Даже такие недоверчивые люди, как Толстой и Достоевский – люди, готовые всегда и во всем сомневаться – не раз становились жертвами предрассудков. От них ждали пророческих слов, и они шли навстречу желаниям людей. Достоевский еще охотнее, чем Толстой. Причем оба предсказывали очень неумело: они обещали одно, а выходило совсем другое. Толстой, например, давно уже обещал, что люди скоро очнутся, бросят свою братоубийственную войну и начнут жить, как следует истинным христианам, исполняя евангельскую заповедь любви. Толстой предсказывал и проповедовал, люди читали его, как не читали, кажется, ни одного писателя, а старых своих привычек и вкусов не меняли. За последнее десятилетие Толстому пришлось быть свидетелем целого ряда ужасных, ожесточеннейших войн. А наша теперешняя революция, с вооруженными восстаниями, виселицами, расстрелами, бомбами, революция, пришедшая на смену кровопролитнейшей Дальневосточной войне!

И это – в России, в стране, где родился, жил, учил и предсказывал Толстой, где миллионы людей искренне считают его величайшим гением! Даже в собственной семье Толстой не умел произвести желательного переворота: один сын его служит офицером, другой пишет в “Новом времени” в таком тоне, точно он сын Суворина, а не Толстого... Где же пророческий дар? Отчего такой замечательный человек, как Толстой, ничего угадать не умеет, оказывается столь близоруким в жизни? “Что будет завтра?” – Завтра я сотворю чудеса, сказал волхв древнему русскому князю. В ответ князь, вынув меч, отрубил

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
волхву голову, и волновавшаяся толпа, верившая волхву-прорицателю, успокоилась и разошлась. История всегда отсекает головы пророческим предсказаниям, и тем не менее толпа гонится за прорицателями. Маловерная, она ищет знамения, ибо ей хочется чуда. Но разве способность предсказывать служит доказательством чудотворной силы? Можно предсказать солнечное затмение, комету, но ведь это кажется чудом только темному человеку. Просвещенный же ум твердо знает, что там именно, где возможно предсказание, чуда нет, ибо возможность предсказания, предугадывания предполагает строгую закономерность. Следовательно, пророком окажется не тот, кто наиболее одарен духовно, не тот, кто хочет властвовать над миром и повелевать законами, не волхв, не кудесник, не художник, не мятежный гений, а тот, кто, вперед покорившись действительности и ее законам, обрек себя на механический труд подсчета и расчета. Бисмарк умел предсказать величие Пруссии и Германии, да не только Бисмарк, а заурядный немецкий политик, для которого все сводится к "Deutschland, Deutschland über alles", <*1> мог угадать на много лет вперед, а вот Достоевский и Толстой ничего угадать не умели. У Достоевского это еще заметнее, чем у Толстого, потому что он чаще пытался угадывать: его дневник наполовину состоит из несбывшихся прорицаний. Поэтому же он сплошь и рядом компрометировал свое пророческое дарование.

II

Может быть, кому-либо покажется неуместным, что в статье, посвященной 25-летию смерти писателя, я вспоминаю о его ошибках и заблуждениях. Но такой упрек едва ли справедлив. Известного рода недостатки в замечательном человеке не менее характерны и важны, чем его достоинства.

Достоевский не был Бисмарком, да разве это так уже дурно, разве об этом жалеть приходится? А затем еще вот что: для писателей типа Толстого и Достоевского их общественно-политические идеи не имеют ровно никакого реального значения. Они знают, что их никто не слушает. Что бы они ни говорили, все равно история и политическая жизнь пойдут собственным путем, ибо не их книги и статьи направляют события. Вероятно, этим объясняется их необыкновенная решительность в суждениях. Если бы Толстой мог думать, что достаточно ему потребовать в статье, чтобы "солдаты, городовые, судьи, министры" и все прочие столь ненавистные ему охранители общественного спокойствия (да кому, кстати, милы они!) были распущены, чтобы убийцам и разбойникам были раскрыты двери тюрем, – кто знает, оказался ли бы он достаточно твердым и непоколебимым в своих убеждениях, чтоб принять на себя всю ответственность за последствия предлагаемых им мер. Но он знает наверное, что его не послушают, и потому спокойно проповедует анархию. Достоевскому с его проповедью пришлось сыграть роль совсем иную, но тоже, так сказать, платоническую. Совершенно, вероятно, неожиданно для самого себя он оказался певцом не "идеальной" политики, а тех реалистических задач, которые поставляли себе всегда правительства в тех странах, где судьбами распоряжались немногие личности. Если послушать Достоевского, можно подумать, что он изобретает идеи, которые правительство должно принять к руководству и осуществлению. Но немного внимания, и вы убедитесь, что Достоевский не изобрел решительно ни одной самобытной политической идеи. Все, что у него было по этой части, он, без проверки даже, заимствовал у славянофилов, которые, в свою очередь, являлись самобытными лишь в той мере, в какой они без посторонней помощи переводили с немецкого и французского "Russland, Russland über alles" <*2> – даже размер стиха не испорчен заменой одного слова. Но, что особенно важно, – и славянофилы со своим русско-немецким прославлением национальности, и вторивший им Достоевский никого из имеющих власть ровно ничему не учили и не научили. Наше правительство само знало все, что ему нужно было знать, без славянофилов и без Достоевского: еще с незапамятных времен шло оно именно тем путем, который так страстно воспевали его теоретики. Так что последним ничего больше не оставалось, как воздавать хвалу имеющим власть и защищать русскую государственную политику против оппозиционно настроенного общественного мнения. Самодержавие, православие, народность – все это до такой степени прочно держалось в России, что в семидесятых годах, когда Достоевский начал проповедовать, нисколько в поддержке не нуждалось. Да ведь и вообще власть, как известно, никогда серьезно не рассчитывает на поддержку литературы. Она, между прочим, требует, чтоб и музы приносили ей дань, благородно формулируя свои требования словами: благословен союз меча и лиры. Бывало, что музы и не отказывали ей – иногда искренне, иногда потому, что, как писал Гейне, в России железные кандалы особенно неприятно

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
носить ввиду больших морозов. Но, во всяком случае, музам предоставлялось только воспевать меч, а отнюдь не направлять его (союзы всякие бывают!), и вот Достоевский, при всей независимости своей натуры, все же оказался в роли певца русского правительства. Т. е. он угадывал тайные желания власти и затем по поводу их вспоминал все “прекрасные и высокие” слова, которые успел накопить за свои долгие странствования. Например: правительство жадными глазами глядело на Восток (тогда еще ближний) – Достоевский начинает доказывать, что нам необходим Константинополь и пророчествовать, что Константинополь скоро будет нашим. “Доказательство” Достоевского, конечно, чисто “нравственного характера”, – на то он писатель: только из Константинополя, говорил он, можем мы провести чисто русскую всечеловеческую идею. Разумеется, что наше правительство, хотя у нас Бисмарков и не было, отлично понимало цену нравственным доказательствам и основанным на них предсказаниям и предпочло бы вместо них иметь несколько хорошо подготовленных дивизий и усовершенствованные орудия. Для реальных политиков один солдат и не то, что пушка, а ружье старой системы больше значат, чем самая лучшая философско-нравственная концепция. Но они все же не гонят от себя кротких певцов, если певцы знают свои шестки. Достоевский согласился на эту роль, ибо она все-таки давала ему возможность проявлять свой строптивый характер в борьбе с либеральной литературой. Он воспевал, протестовал, говорил несообразности, даже хуже, чем несообразности. Например, предлагал всем славянским народностям объединиться под эгидой России, уверяя, что таким только образом за ними будет обеспечена полная независимость, право культурного самоопределения и т. д. Это пред лицом миллионов живущих в России славян-поляков. И еще:

“Московские ведомости” высказали мысль, что хорошо было бы, если бы крымские татары эмигрировали в Турцию, ибо тогда можно было бы заселить крымский полуостров русскими.

Достоевский с восторгом подхватывает самобытную идею. Действительно, говорит он, по политическим, государственным и иным подобного рода соображениям (не знаю, как другие, но когда я слышу из уст Достоевского такие слова, как “государственный”, “политический” и т. п., мне безудержно хочется хохотать) татар необходимо вытеснить и на их землях поселить русских. Когда “Московские ведомости” проектируют такую меру – дело понятное. Но Достоевский! Достоевский, который называл себя христианином, который так горячо проповедовал любовь к ближнему, самоунижение, самоотречение, который “учил”, что Россия должна “служить народам” – как могла улыбнуться ему такая хищническая мысль?! А между тем, почти все его политические идеи отзываются хищничеством: захватить, захватить и еще захватить... Соответственно нужде, он то выражает надежду на дружбу Германии, то грозит ей, то доказывает, что Англия в нас нуждается, то утверждает, что мы и без Англии проживем – совсем, как передовик из благонамеренной провинциальной газеты. И во всех этих смешных и вечно противоречивых утверждениях чувствуется лишь одно: Достоевский в политике ничего, решительно ничего не понимает, и сверх того, ему до политики никакого дела нет. Он принужден идти на буксире вслед за другими, ничтожными по сравнению с ним людьми, и ничего, – идет. Даже самолюбие – у него ведь было колоссальное, единственное в своем роде самолюбие, как и прилично всечеловеку – при этом нисколько не страдает. Главное, что люди ждали от него пророчества, что следующий за чином великого писателя есть чин пророка, что убежденный тон и громкий голос есть признаки пророческого дарования. Говорить громко Достоевский умел; умел и говорить тоном человека, знающего тайну, власть имеющего: подполье выучивает. Все это пригодилось. Люди приняли придворного певца существующего порядка за вдохновителя дум, за властителя отдаленнейших судеб России. И с Достоевского этого было достаточно. Достоевскому это даже было необходимо. Он знал, конечно, что он не пророк, но он знал, что пророков на земле не было, а которые были, не имели на это большего права, чем он.

III

Позволю себе напомнить читателю письмо Л. Н. Толстого к Л. Л. Толстому, недавно опубликованное последним в газетах. Оно представляется очень интересным – опять-таки не с точки зрения практического человека, которому нужно разрешить вопрос дня, – с этой точки зрения Толстой, Достоевский и им подобные совсем ни на что не нужны – но ведь не о едином хлебе будет сыт человек.

Даже сейчас, в страшное время, переживаемое нами – если хотите, то сейчас, пожалуй, сильнее, чем когда бы то ни было – нельзя читать только одни газеты и думать лишь об ужасных сюрпризах, подготовляемых нам завтрашним днем. У каждого между чтением газет и партийных программ остается час досуга, хотя бы не днем, когда шум событий и текущий труд отвлекают, а глубокой ночью, когда все, что можно было – уже сделано, все, что нужно было – уже сказано. Тогда прилетают старые, спугнутые “делами” мысли и вопросы. И в тысячный раз возвращаешься к загадке человеческого гения, человеческого величия. Насколько и в каких областях гений знает и может больше, чем обыкновенные люди?

И тогда письмо Толстого, которое днем возбуждало только негодование и раздражение – ведь в самом деле, разве не обидно, разве не возмутительно, что в великом столкновении враждующих меж собой в России сил он не умеет отличить правой от неправой и всех борющихся клеймит общим именем безбожников! – кажется иным. Днем, говорю я, это точно обидно, днем хотелось бы, чтоб толстой был с нами и за нас, ибо ведь мы убеждены, что мы, только мы одни ищем правды, знаем правду, а что враги наши злонамеренно или по заблуждению защищают зло и неправду. Но это днем. Ночью же – дело иное. Вспоминаешь, что и Гете просмотрел, просто не заметил великой французской революции. Правда, он был немцем и жил далеко от Парижа, а Толстой живет вблизи Москвы, где расстреливали, резали, сжигали мужчин, женщин, детей. Как же он просмотрел эти ужасы? А он несомненно просмотрел Москву и все, что было до Москвы. Происходящие события не кажутся ему значительными, выходящими из ряда вон. Для него значительно только то, к чему он, Толстой, приложил руку: все, что вне его и помимо его происходит, для него не существует. Такова великая прерогатива великих людей. И знаете что? Иногда мне кажется – или, может быть, мне только хочется, чтоб казалось – будто в этой прерогативе есть глубокое, сокровенное значение.

Когда нет сил слушать дальше бесконечные повести об ужасных зверствах, уже совершившихся и предвосхищать воображением все, что ждет еще нас впереди – вспоминаешь Толстого и его равнодушие. Не в нашей, человеческой, власти вернуть детям убитых отцов и матерей, матерям и отцам – убитых детей. Не в нашей власти даже отомстить убийцам – да не всякого месть примирит с потерей. И пробуешь думать не по логике, пробуешь искать оправдания ужасам там, где его нет и быть не может. Что если, спрашиваешь себя, Толстой и Гете оттого не видели революции и не болели ее муками, что они видели нечто иное, может быть, более нужное и важное? Ведь это – люди величайшего духа! Может быть, и в самом деле на небе и земле есть вещи, которые не снились нашей учености?..

Теперь можно вернуться к Достоевскому и его “идеям”, можно безбоязненно называть их теми именами, которых они заслуживают. Ибо хотя Достоевский и гениальный писатель, но это не значит, что мы должны забывать о наших насущных нуждах. Ночь имеет свои права, а день – свои. Достоевский хотел быть пророком, хотел, чтобы его слушали и кричали ему вслед “Осанна”, ибо, повторяю, он полагал, что если когда-либо кому-либо кричали осанна, то нет никакого основания отказывать ему, Достоевскому, в этой чести. Вот причина, почему в 70-х годах он выступает в новой роли проповедника христианства и даже не христианства, а православия.

Обращаю еще раз внимание на то далеко не случайное обстоятельство, что проповедь совпала с самым “светлым периодом” его жизни. Прежний бездомный кочевник, бедняк, не знавший, где преклонить голову, обзавелся семьей, собственным домом, даже деньгами (жена прикапливала). Неудачник стал знаменитостью. Каторжник – полноправным гражданином. Подполье, куда еще недавно и навсегда, как можно было думать, загнала его судьба, кажется старой фантазмагорией, никогда не бывшей действительностью. Там, в каторге и подполье, родилась и долго жила великая жажда Бога, там была великая борьба, борьба на жизнь, и на смерть, там впервые производились те новые и страшные опыты, которые сроднили Достоевского со всем, что есть на земле мятущегося и беспокойного. То, что пишет Достоевский в последние годы своей жизни (не только “Дневник писателя”, но и “Братья Карамазовы”), имеет ценность лишь постольку, поскольку там отражается прошлое Достоевского. Нового дальнейшего шага он уже не сделал. Как был, так и остался накануне великой истины. Но прежде этого было ему мало, он жаждал дальнейшего, а теперь он не хочет бороться и не умеет объяснить ни себе, ни другим, что собственно с ним происходит. Он продолжает симулировать борьбу – да, сверх того, он как будто бы окончательно победил и требует, чтоб победа была признана общественным мнением. Ему хочется думать, что канун уже прошел,

что наступил настоящий день. А каторги и подполья, напоминающих, что день не настал, уже нет. Налицо все данные для полной иллюзии победы – подбери только слова и проповедуй! Достоевский ухватился за православие. Почему не за христианство? Да потому, что христианство не для того, у кого дом, семья, достаток, слава, отечество. Христос говорил: все покинь и следуй за мной. А Достоевский боится уединения, он хочет быть пророком для людей, современных, оседлых людей, для которых христианство в его чистом виде, неприспособленном к условиям культурного, государственного существования, не годится. Ну как христианину брать Константинополь, выселять из Крыма татар, переводить всех славян на положение поляков и т. д. и т. д. – всех проектов Достоевского и “М. В.” не перечислишь. И вот, прежде, чем признать Евангелие – нужно истолковать его...

Как это ни странно, но приходится признать, что в литературе мы не встречаем никого, кто бы принимал Евангелие целиком, без истолкований. Кому нужно брать Константинополь по Евангелию, кому оправдать существующий порядок, кому возвысить себя или унижить врага – и каждый считает себя вправе урезать или даже дополнять текст Писания. Разумеется, здесь я имею в виду лишь тех, кто на словах, по крайней мере, признает Божественное происхождение Нового Завета. Ибо тот, кто видит в Евангелии лишь одну из более или менее замечательных книг своей библиотеки – тот, конечно, вправе производить над ним какие угодно критические операции.

Но вот вам Толстой, Достоевский, Вл. Соловьев. У нас существует мнение, особенно поддержанное и развитое новейшей критикой, что только Толстой рационализировал христианство, Достоевский же и Соловьев принимали его во всей его мистической полноте, не давая разуму права отделять в Евангелии истину от лжи. Я нахожу это мнение ошибочным. Именно Достоевский и Соловьев боялись признать Евангелие источником познания и гораздо более доверяли собственному разуму и житейскому опыту, чем словам Христа. Если был у нас человек, который хотя отчасти рискнул принять загадочные и явно опасные слова евангельских заповедей – то это Лев Толстой. Сейчас объясню.

Толстой, говорят нам, пытался в своих заграничных сочинениях объяснить понятным для человеческого ума способом евангельские чудеса. Достоевский же и Соловьев охотно принимали на веру необъяснимое. Но обыкновенно евангельские чудеса привлекают к себе наименее верующих людей. Ибо повторить чудеса – невозможно, а раз так, то, стало быть, тут достаточно наружной веры, т. е. одного словесного утверждения. Говорит человек, что верит в чудеса – репутация религиозности сделана, для себя и для других. А для остальной части Евангелия остается “толкование”. Например, о непротивлении злу. Нечего говорить, что учение о непротивлении злу есть самое страшное, а вместе с тем, самое иррациональное и загадочное из всего, что мы читаем в Евангелии. Все наше разумное существо возмущается при мысли, что злодею оставляется полная материальная свобода для совершения его злодейских дел. Как позволить разбойнику на твоих глазах убить неповинного ребенка и не обнажить меча?! Кто вправе, кто мог заповедать такое возмутительное предписание? Это повторяет и Соловьев, и Достоевский, один в тайной, другой в открытой полемике против Толстого. И так как все-таки в Евангелии прямо сказано “не противься злу”, то оба они, верующие в чудеса, вдруг вспоминают о разуме и обращаются к его свидетельству – зная, что разум, конечно, безусловно отвергнет какой бы то ни было смысл в заповеди. Иначе говоря, они повторяют о Христе слова сомневавшихся евреев: кто Он такой, что говорит, как власть имеющий? Бог повелел Аврааму принести в жертву своего сына. Авраам, хотя его разум, человеческий разум, отказывался признать понятный смысл в жестоком приказании, все-таки приготовился поступить по слову Божию и не пытался хитроумным толкованием снять с себя тяжелую, нечеловеческую обязанность. Достоевский же и Соловьев, как только требования Христа не встречают оправдания в их разуме, отказываются исполнять их. А говорят, что веруют и в воскресение Лазаря, и в излечение паралитиков, и во все прочее, о чем повествуют апостолы. Почему же их вера оканчивается как раз там, где она начинает обязывать? Почему вдруг понадобился разум, тогда как о Достоевском мы доподлинно знаем, что в свое время он затем именно и пришел к Евангелию, чтоб освободиться от власти разума? Но то было время подполья – а теперь наступил светлый период его жизни. Соловьев же подполья никогда, видно, и не знал. Только Толстой смело и решительно пробует испытать не в мыслях только, а отчасти и в жизни истинность христианского учения. Безумно не противиться злу с человеческой точки зрения – он это так же хорошо знает, как Достоевский, Соловьев и все прочие многочисленные его оппоненты. Но в Евангелии он именно ищет божественного безумия – ибо человеческий разум его

не удовлетворяет. Толстой стал следовать Евангелию в тот совсем не светлый период своей жизни, когда его преследовали образы Ивана Ильича и Позднышева. Тут вера в чудеса, абстрактная, оторванная от жизни – ни к чему. Нужно ради веры отдать все, что есть у тебя самого дорогого – сына на заклание. Кто Он такой, что говорил, как власть имеющий? Нельзя ныне проверить, точно ли Он воскресил Лазаря и насытил несколькими хлебами тысячную толпу. Но, исполнив без колебания Его заповеди, можно узнать, дал ли Он нам истину... Так было у Толстого, и он обратился к Евангелию, единственному и подлинному источнику христианства. Достоевский же обратился к славянофилам и их религиозно-государственным учениям. Непременно православие, а не католичество, не лютеранство и даже не просто христианство. И затем – самобытная идея: Russland, Russland &ber alles. Толстой не умел ничего предсказать в истории, но ведь он почти явно и не вмешивается в историческую жизнь. Для него наша действительность не существует: он весь сосредоточился в загадке, заданной Богом Аврааму. Достоевский же хотел во что бы то ни стало предсказывать, постоянно предсказывал и постоянно ошибался. Константинополя мы не взяли, славян не объединили, и даже татары до сих пор живут в Крыму. Он пугал нас, что в Европе прольются реки крови из-за классовой борьбы, а у нас, благодаря нашей русской всечеловеческой идее, не только мирно разрешатся наши внутренние вопросы, но еще найдется новое, неслыханное доселе слово, которым мы спасем несчастную Европу. Прошло четверть века. В Европе пока ничего не случилось. Мы же захлебываемся, буквально захлебываемся в крови. У нас душат не только инородцев, славян и не славян, у нас терзают своего же брата, несчастного, изголодавшегося, ничего не понимающего русского мужика. В Москве, в сердце России, расстреливали женщин, детей и стариков. Где же русский всечеловек, о котором пророчествовал Достоевский в Пушкинской речи? Где любовь, где христианские заповеди? Мы видим одну “государственность”, из-за которой боролись и западные народы – но боролись менее жестокими и антикультурными средствами. России опять придется учиться у Запада, как уже не раз приходилось учиться... И Достоевский гораздо лучше сделал бы, если бы не пытался пророчествовать.

Впрочем, не беда, если он и пророчествовал. От всей души и теперь я рад, что хоть под конец жизни отдохнул он от своей каторги. Я глубоко убежден, что если бы даже до последних дней своих он оставался в подполье, все равно “разрешения” волновавших его вопросов он не добился бы. Как бы много душевной энергии ни вложил в свое дело человек, он все же останется “накануне” истины и не найдет нужной ему разгадки. Таков человеческий закон. А проповедь Достоевского вреда не принесла. Его слушали те, которые все равно бы шли на Константинополь, душили бы поляков и уготовляли бы страдания, столь необходимые мужичьей душе. Если Достоевский и дал им свою санкцию, то этим, в сущности, ничего им не прибавил. Они в литературной санкции не нуждаются, совершенно правильно рассуждая, что в практических вопросах решающее значение имеют не печатные листки, а штыки и пушки...

Все, что было у него рассказать, Достоевский рассказал нам в своих романах, которые и теперь, через двадцать пять лет после его смерти, притягивают к себе всех тех, кому нужно выпытывать от жизни ее тайны. А чин пророка, за которым он так гнался, полагая, что имел на него право, был ему совсем не к лицу. Пророками бывают Бисмарки, они же и канцлерами бывают, т. е. первыми в деревне, первыми в Риме... Достоевским же суждено вечное “накануне”?! Снова попробуем пренебречь логикой, на этот раз, быть может, не только логикой и сказать: да будет так...

Германия, Германия превыше всего (нем.).

Россия, Россия превыше всего (нем.).

Похвала глупости (По поводу книги Николая Бердяева *Sub specie aeternitatis*)

Den Leib möcht ich noch haben Den Leib so zart und jung; Die Seele könnt ihr begraben, Hab' selber Seele genug.

H. Heine.

I

Не в насмешку, как это сделал в старину знаменитый Эразм Роттердамский, а искренне и от всей души начинаю я свое похвальное слово глупости. И в этой новой книге Бердяева во многом поможет мне. Он мог бы, если б захотел, назвать ее, по примеру своего давно умершего коллеги, похвалой глупости, ибо задача ее – вызов здравому смыслу. Правда, в ней собраны статьи за шесть лет, так что, собственно говоря, полного единства задачи нет и быть не может. Шесть лет – огромный срок, и даже не только такой писатель, как Бердяев, но и всякий другой в большей или меньшей степени изменяется за столь продолжительное время. Книга начинается давно написанной статьей "Борьба за идеализм", в которой автор держится еще строго кантовской точки зрения, как известно, допускающей и здравый смысл, и все сопутствующие ему добродетели. Затем постепенно автор эволюционирует и в конце книги уже открыто объявляет войну здравому смыслу, противопоставляя ему, однако, не Глупость, как то делается обыкновенно, а Большой Разум. Конечно, можно и так выразиться, можно Глупость назвать Большим Разумом и это, если угодно, имеет свой глубокий смысл, точнее – глубокую ядовитость. Ибо, что может быть обидней и унижительней для здравого смысла, чем присвоение Глупости почетного титула Большого Разума? Ведь до сих пор здравый смысл считался отцом и ближайшим другом всяких разумов, больших и малых. Теперь же Бердяев, пренебрегая родословными и исторически сложившейся геральдикой, возводит "противоположность здравого смысла", т. е. Глупость, в сан Большого Разума. Несомненно великая дерзость, но Бердяев – писатель дерзкий по преимуществу, и в этом, по моему мнению, его лучшее качество. Я сказал бы, что в его дерзости – его дарование, его философский и литературный талант. Как только она покидает его, иссякает источник его вдохновения, ему нечего сказать, он перестает быть самим собою. Но я забежал несколько вперед. Вернемся к его эволюции, вернее, к эволюции его идей.

Я уже указал, что Бердяев, как и всякий думающий человек, за шесть лет много раз менял свои убеждения или свои идеи. Философские, конечно. В своих политических воззрениях он проявляет несравненно большую устойчивость и постоянство. Он был и остался демократом и даже, кажется, социалистом. Это любопытно. Отчего люди гораздо легче меняют свои философские убеждения, чем политические? Такая же сравнительная прочность политических убеждений наблюдается и у других писателей, проделавших вместе с Бердяевым эволюцию от марксизма через идеализм к мистицизму и даже к положительной религии. Например, хотя бы Булгаков. Если бы он проявил ту же быстроту в смене политических убеждений, быть бы ему теперь либо в черносотенниках, либо в максималистах, т. е. где-нибудь на последней окраине политического поля. Но он как был, так и остался, вместе с Бердяевым, и демократом, и социалистом. Правда, он уже не благоговеет пред Марксом, – но лишь в области теории. В практических вопросах он остался верным себе, так что существовавший в представлении публики неразрывный nexus idearum между православием и реакционерством должен считаться отныне окончательно разорванным! <> Теперь много, – даже среди молодежи, учеников Булгакова, – таких, которые вместе со своим учителем пекутся о православной церкви и все-таки не воспевают ни земских начальников с розгами, ни военно-полевых судов, ни неограниченной власти министров. Чем же объясняется непостоянство философских убеждений у людей, в политическом отношении стойких и непоколебимых? Ясно, что не характером. Ибо нельзя же одновременно иметь и стойкий, и изменчивый характер.

Оставляю пока вопрос без ответа, но обращаю внимание читателя на другую особенность идейного развития Бердяева (тоже и Булгакова). Как только он покидает какой-либо строй идей ради нового, он уже в своем прежнем идейном богатстве не находит ничего достойного внимания. Все – старье, ветошь, ни к чему не нужное. Например, экономический материализм. Когда-то (в своей первой книге) Бердяев восторгался им, правда, не в его чистом виде, а в соединении с кантианством, и считал, что в нем все истины. Теперь он уже в нем не видит ни одной истины. Я и ставлю вопрос – разрешается ли философу такая безумная расточительность? Ведь того и гляди, у материалистов были хоть крупницы истины?! Неужели пренебрегать ими? Или впоследствии, когда пришлось снова сниматься с места и покидать старика Канта, Бердяев все бросил, ничего не подобрал, словно бы его тяготила всякая поклажа, и налегке помчался к метафизике, заранее уверенный, что он найдет у нее и тучные стада, и огромные поля, – словом, все то, что нужно человеку для пропитания. Потом бросил метафизику и ринулся в глубину религиозных откровений. На страницах "Вопросов жизни" пред читателем развернулась история обращения Бердяева из метафизика в верующего христианина. Обращение

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
в особенности поражающее своей порывистостью. Даже для Бердяева слишком скоро. Он стал христианином прежде, чем выучился четко выговаривать все слова символа веры. Метаморфоза, очевидно, произошла за порогом сознания. В своей статье "О новом религиозном сознании", в которой он впервые начинает говорить о Христе, богочеловеке, человекобоге и т. п., он обрывается, заикается, словом, обнаруживает все признаки того, что попал в чуждую и незнакомую ему область, где приходится двигаться наугад и ощупью. Между прочим, следует отметить тот любопытный факт, что все наши писатели, пришедшие к христианству путем эволюции, никак не могут научиться по-настоящему выговаривать святые слова. Даже Мережковский, вот уже сколько лет упражняющийся на богословские темы, не дошел до сих пор до сколько-нибудь значительной виртуозности, несмотря на свое несомненное литературное дарование. Настоящего тона нет. Вроде того, как человек, в зрелом возрасте изучивший новый язык. Всегда узнаешь в нем иностранца. То же и Булгаков. Он оригинально решил трудную задачу и с первых же статей стал выговаривать слово Христос тем же тоном, которым прежде произносил слово Маркс. И все-таки Булгаков, несмотря на все преимущество простоты и естественности манеры (ибо ее не пришлось менять) не удовлетворяет чуткого слуха. В этом отношении их всех далеко превосходит Розанов, хотя, как известно, он в Христа не верит и Евангелия не признает. Но он с детства был воспитан в правилах благочестия, не знал увлечений дарвинизма и марксизма и сохранил себя нетронутым. Я думаю, что ни Мережковский, ни Булгаков, ни Бердяев никогда не сравнятся с Розановым. Булгаков, видно, это чувствует и от религиозных исканий переходит к вопросам церкви, к церковной политике. Здесь, пожалуй, он будет на своем месте. Политика, вопросы общественного устройства - старое, близкое, родное дело.

Из сказанного следует многое... Прежде всего, что идейная эволюция, которая в старину проделывалась так трудно и с такой чрезвычайной медленностью, а теперь проходит с такой легкостью и быстротой, вовсе не знаменует собой глубоких внутренних изменений. Булгаков, когда был марксистом, был таким же хорошим человеком, как и теперь. Бердяев кантианец или метафизик, Мережковский ницшеанец или христианин - с внутренней стороны разницы нет. *Ciculus non facit monachum*. И вообще, видно, старики ошибались, когда думали, что философские идеи нужно так тщательно оберегать от ржи и моли и всегда держать в сухом месте, чтоб не испортились. Политические убеждения - дело другое. В политике переменил убеждения, менял друзей и врагов: стреляя в тех, кого вчера защищал грудью, и наоборот. Тут призадуматься. Ну, а перейти от кантианства к гегельянству и даже, *horribile dictu* - к материализму, что кому от этого сделается? Я даже не вижу никаких оснований для человека, который хорошо знает несколько философских систем, непременно эволюционировать от одной к другой. Дозволительно, смотря по обстоятельствам, верить то в одну, то в другую. Даже в течение дня переменить две-три. Утром быть убежденным гегельянцем, днем держаться прочно Платона, а вечером... бывают такие вечера, что и в Спинозу уверуешь: такой неизменной покажется наша *natura naturata*. <> Трудно только добровольно согласиться, что за добродетель не следует никакой награды. Следовало бы, по правде сказать, даже очень бы следовало. Но разве *Deus sive natura sive substantia* так устроен, что и сам не может никак изменить своей природы - ничего не поделаешь, поневоле примиришься и постараться утешиться созерцанием мира *sub specie æternitas*.

II

Впрочем, Бердяев, хотя и заимствовал заглавие для своей книги у Спинозы, отнюдь не стоит на точке зрения Спинозы, и я тоже сейчас, хотя теперь и вечер, вернее, глубокая ночь, менее всего расположен к спинозизму. Мы оба сходимся в одном. Мы ненавидим всякого рода *ratio* и противопоставляем ему - Бердяев - Большой разум, я - Глупость. Аргумента в защиту своего термина мне можно, кажется, не представлять, и это тем удобнее, что у меня, собственно говоря, и никаких особенных аргументов нет. Просто не люблю торжественных слов вроде Большого Разума, метафизики, сверхчувственности, мистицизма. Если это недостаток - то снисходительный читатель, наверно, простит. Тем более, что в настоящей статье за торжественными словами дело не станет. Бердяев, в противоположность мне, их очень любит, и в цитатах из его книги их найдется не мало. Итак, посмотрим, что может сделать и сказать сам Бердяев во славу Глупости (пишу Глупость с большой буквы по примеру Бердяева, который Большой Разум так пишет). Лучшей в этом и во всех прочих

отношениях статьей его является статья "К. Леонтьев, философ реакционной романтики". Леонтьева у нас даже и по слухам не знают, а кто знает, может только два слова сказать о нем: сотрудник "Московских ведомостей" и "Русского вестника" – стало быть, реакционер. Между тем, уже по цитате из его сочинений, приведенной Бердяевым в эпиграфе к своей статье, сразу видно, что мы имеем дело с личностью незаурядной, замечательной. Судите сами. Леонтьев говорит: "Не ужасно ли и не обидно ли было думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели свои пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы индивидуально или коллективно на развалинах всего этого прошлого величия". И еще: "Надо подморозить хоть немножко Россию, чтоб она не гнила". Уже по приведенным словам сразу видно, что мы имеем дело с духом смелым, своеобразным, независимым. Или еще пример: "Именно эстетику – то приличествует во времена неподвижности быть за движение, во времена распушенности за строгость; художнику прилично быть либералом при господстве рабства, ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии, немножко *libre penseur*'ом<> ("немножко", вероятно, для цензуры и редактора) при лицемерном ханжестве, набожным при безбожии". Такого рода откровенность даже в наше время, когда прежняя внутренняя цензура почти совсем отменена, не часто встретишь. Сам Бердяев, открывший для русского читателя Леонтьева и с радостью и уважением отмечающий независимость его мысли, в конце концов подвергает его суждения догматической критике. Предание, традиция тяготеет над ним, и пример Леонтьева, при всей своей соблазнительности, кажется ему слишком рискованным и опасным, благодаря чему как в этой, так и в других статьях подмечается у него странная двойственность. Сердцем он сочувствует Леонтьеву, радуется державной свободе его души, гибкости и легкости его мысли, но ум, вернее, умы, – малый, средний и большой, – все восстают против бедного сердца со своими категорическими императивами. "Ты не должен в своих суждениях считаться ни с чем, кроме единой и вечной истины", кричат они властными голосами, и Бердяев, недавно на минуту насладившийся вместе с Леонтьевым прелестью общения с легкомысленной, капризной, но изящной и очаровательной Глупостью, послушно возвращается на свое место и отрекается и от себя, и от Леонтьева. Чудесно начатая статья кончается проектом соглашения между Глупостью и здравым смыслом, соглашения, при котором все выгоды на стороне последнего. Бердяев никак не может окончательно поверить, что Глупость имеет свои законные, не подлежащие ни контролю, ни ограничению права. Она прекрасна, спору нет, здравый смысл до смерти надоел и скучен, как старая ханжа, но все же повиноваться нужно ему, а Леонтьев подлежит укрощению. И все почти статьи Бердяева написаны по тому же плану, что статья о Леонтьеве. Синтез ли тут замешан (вернее всего, что Синтез) или что иное – не могу точно сказать. Начинает обыкновенно Бердяев с того, что набросится на здравый смысл, кричит, бранит его, с грязью смешивает, топает ногами. Бедный здравый смысл, совершенно не привыкший к такому обращению (мне кажется, что никто из наших писателей не умеет так высоко и пренебрежительно разговаривать со здравым смыслом, как Бердяев), дрожит, теряется, не знает с испугу, что сказать в свое оправдание. Он не может вынести такого к себе отношения; до сих пор, обыкновенно, кричали и топали ногами, когда разговаривали с Глупостью. Но под конец статьи Бердяев обязательно смягчается и вновь возвращает здравому смыслу если не все, то хотя часть исторически признанных за ним прав. Поэтому его книга может быть интересна и полезна для людей разнообразных вкусов. Кому нравится здравый смысл, тот пусть обращает преимущественное внимание на заключительные страницы статей, кто любит Глупость – пусть читает, главным образом, начала: жалеть не будет. Мне, как я уже признался, больше по сердцу Глупость. Не то, чтоб я был уверен в ее окончательной победе над здравым смыслом. Уверенности такой у меня нет. Но ведь не возбраняется иногда и идеализировать жизнь, т. е. верить тому, чего не бывает и не верить тому, что бывает. Есть даже идеалистические философские направления. Многие люди постоянно и систематически верят в несуществующее и никогда не верят в действительность. Я позволяю себе иногда роскошь добровольного заблуждения и с истинным наслаждением перечитываю те места книги Бердяева, в которых приводятся его собственные или чужие глупости, и верю им, верю, хотя бы они тысячу раз противоречили всякой несомненности и очевидности. Он, например, говорит: "Мистический реализм ведет не к статическому догматизму, а к догматизму динамическому (подчеркнул я), всегдадвигающемуся, творческому без границ, прозревающему и преображающему. Живая и реальная мистика всегда

должна что-нибудь открывать, что-нибудь утверждать, должна опыты производить и рассказывать об испытанном и увиденном, она догматична во имя движения, чтобы движение действительно было, чтобы в движении что-нибудь происходило". Т. е. адогматический догматизм, или догматический адогматизм, так называемое *contradictio in adjecto*:<> движущийся покой, деревянное железо и т. д. Я спрашиваю, какой еще писатель имеет дерзновение так открыто противоречить законам логики и так мало о логике (том же здоровом смысле) заботиться?! И это уже в самом начале книги, в предисловии! Мне только ужасно жаль, что Бердяев употребляет так много незнакомых публике иностранных терминов. Благодаря этому смысл его речей для большинства темен. Пожалуй, найдется немало читателей, которые, пробежавши приведенные строки, вовсе и не оценят их по достоинству. Подумают, что это обыкновенная ученость, трудная для понимания именно потому, что очень строго придерживается логики и боится согрешить пред законом противоречия. А теперь не угодно ли отрывок из послесловия: "Никакая наука не может доказать, что в мире невозможно чудо, что Христос не воскрес, что природа Божества не раскрывается в мистическом опыте, - все это просто вне науки, у науки нет слов, которые выразили бы не только что-либо положительное в этой области, но хоть и что-либо отрицательное. Положительная наука может только сказать: по законам природы, открываемым физикой, химией, физиологией и прочими дисциплинами, Христос не мог воскреснуть, но в этом она только сходится с религией, которая тоже говорит, что Христос воскрес не по законам природы, а преодолев необходимость, победив закон тления, что воскресение Его есть таинственный мистический акт, к которому мы приобщаемся только в религиозной жизни". Наука, положим, говорит не так, но до науки нам сейчас дела нет. У Бердяева же получается, что законы природы и существуют, и не существуют. Ибо чудеса не только возможны, но даже и происходили в действительности на глазах у людей. Бердяев вспоминает только о воскресении Христа. А воскресение Лазаря, излечение слепых и паралитиков, а пятитысячная толпа, насытившаяся двумя хлебами и пятью рыбами и т. д.? Все это известно нам из того же источника, из которого мы знаем о воскресении Христа. Стало быть, в свое время нарушение законов природы было столь же обыкновенным явлением, как в настоящее время их ненарушимость. И, стало быть, либо положение науки, что законы природы ненарушимы, вопреки логике, сосуществует с противоположным положением, что законы природы могут быть нарушаемы, либо оно прямо ложно. Это заключение, особенно близкое и дорогое мне, так же близко и дорого сердцу Бердяева. Он его формулирует в следующих словах: "Быть может, логические законы, которые держат нас в тисках, это лишь болезнь бытия, дефект самого бытия". Зачем только "быть может"? Прямо бы догмат: логические законы есть только болезнь бытия и отсюда вывод: так как логика для нас необязательна, то, стало быть, законы природы одновременно и существуют, и не существуют. Так было бы лучше.

Впервые мысль о том, что законы природы и существуют и не существуют - мысль, проходящая через всю вторую половину книги Бердяева, высказана с особенной ясностью в статье "О новом религиозном сознании", посвященной Мережковскому.

По-видимому, самая мысль возникла у него отчасти под влиянием Мережковского. По-видимому, Бердяев считает себя многим обязанным этому последнему и не находит нужным скрывать этого обстоятельства. Темы Мережковского он считает гениальными и усваивает не только темы, но и любимые слова и выражения Мережковского (Ипостась пишет с прописной ижицы). Бердяев говорит: "Мережковский понял, что исход из религиозной двойственности, из противоположности двух бездн - неба и земли, духа и плоти, языческой прелести мира и христианского отречения от мира, что исход этого не в одном из двух, а в Третьем: в Трех. В этом его огромная заслуга, огромное значение для современного религиозного движения. Мука его, родная нам мука, в вечной опасности смешения, подмены в двоящемся лике Христа и Антихриста, в вечном ужасе, что поклониться не Богу Истинному, что отвергнешь одно из Лиц Божества, одну из бездн, не противный Богу, а лишь противоположный, и столь же Божественный полюс религиозного сознания". Я лично не разделяю суждений ни Мережковского, ни Бердяева. Я даже не полагаю, что так поставленный вопрос о небе и земле может иметь большой интерес. Я нахожу, что Мережковский, заимствовавший и постановку вопроса, и его разрешение, главным образом, у Достоевского, ложно понял этого последнего. Основной человеческий вопрос есть отнюдь не вопрос моральный. Если сочинения Достоевского в этом смысле недостаточно ясны и допускают различные толкования, то это лишь потому, что Достоевский, как и всякий человек нового слова и нового дела, не умел и не решался быть всегда только самим собой. Он пользовался многими старыми словами. И так как старое

понятнее нового, то за старое и ухватились. Теология Достоевского есть принятое им готовое наследие. Так что, в сущности, Мережковский через голову Достоевского получил богатства, хранившиеся до него в старинных сокровищницах европейской культуры. То же, что принадлежало собственно Достоевскому, было признано Мережковским лишь на минуту – и потом предано забвению. Бердяев в этом следует примеру Мережковского. Правда, что Бердяев не всегда и не во всем соглашается с Мережковским, часто спорит с ним и иногда даже посылает ему несправедливые упреки. Например, он говорит: "у него (у Мережковского) часто не хватает художественного дара для творчества образов и мыслительного дара для творчества философских концепций". Если я правильно понимаю Бердяева, то в этих словах он высказывает общераспространенное мнение о Мережковском. Все говорят о Мережковском (о Минском тоже), что он холодный, головной писатель. Т. е. всем бы хотелось, чтоб Мережковский и Минский, прежде чем говорить о крестных страданиях, повисели бы с часик сами на крестах. Иначе будто бы нельзя доверять их осведомленности. Какая дикость, некультурность! Из-за нового образа, из-за новой концепции добровольно на крест идти! И Бердяев, свой же брат писатель, повторяет такие вещи!

Это я, впрочем, только к слову заметил, тем более, что все равно ни Мережковский, ни Минский не поддадутся соблазну. Ибо знают, что если уже выбирать, то лучше, чтоб страдали книги, чем их авторы. И затем, все, что нужно узнать для составлений философских концепций, можно добыть более простым и менее рискованным путем. Сам же Бердяев пишет про Мережковского: "Он видел жизнь, смысл ее в греческой трагедии, в смерти богов языческих и рождении Бога христианского, в эпохе Возрождения с ее великим искусством, в воскресении древних богов, в таинственных индивидуальностях Юлиана Отступника и Леонардо да Винчи, в Петре Великом, Пушкине, Л. Толстом и Достоевском. Это романтическая черта в Мережковском – отвращение к мелким масштабам современности и благоговейное уважение к большим масштабам мирового прошлого. Мережковский переживал опыт былых великих времен, хотел разгадать какую-то тайну, заглянув в душу таких огромных людей, как Юлиан, Леонардо и Петр, так как тайна их казалась ему вселенской". Все это верно, Мережковский действительно очень начитанный человек и вложил много труда и усилий в свое дело, а все-таки вопрос о Духе и Плоти, о Небе и Земле в том виде, как его поставил и разрешил Мережковский, вовсе не есть столь кардинальный вопрос. Не было нужды делать столь огромное напряжение, писать и читать так много книг, чтоб доказать святость Плоти и Духа, Неба и Земли. Ибо даже после того, как удалось доказать в такой степени, в какой это, по мнению Бердяева, удалось Мережковскому – главный-то, основной вопрос остается все же открытым. И дух свят, и плоть свята, – но где же ручательство, что освященное нами свято также и пред лицом вечности? А что, если тот же Спиноза, который всю жизнь искал вечности, прав и *Deus sive natura sive substantia*, не знающий ни добра, ни зла, ни радостей, ни страдания, ни святости, ни порочности, словом, стоящий вне человеческих целей – если он, такой бог, был началом и источником жизни? И если созерцать жизнь *sub specie æternitatis* значит видеть в ней то, что видел бледный голландский отшельник? У Достоевского на эту тему много рассказано.

III

Такого вопроса Бердяев никогда себе не ставил и ставить не хочет. Основная его предпосылка (и даже не предпосылка, а нечто гораздо более прочное, как увидим ниже), исходное предположение: то, что ему нужно, он всегда найдет. Много он рассказывает о своих сомнениях и о том, как он преодолевал их. Но вся книга его говорит о том, что его сомнения никогда не могли сдвинуть с места заложенного в глубине его души гранита веры. Он сомневался в том, кто прав: Фихте или Гегель, Кант или Маркс, Михайловский или Мережковский, но он всегда был убежден, что на чьей бы стороне ни оказалась правота, она все же будет иметь успокоительный, отвечающий человеческим желанием характер. В этом отношении он сохранил старые традиции русской литературы. В своей статье "Н. К. Михайловский и Б. Н. Чичерин" он пишет: "Со смертью Михайловского как бы сошла со сцены целая эпоха в истории нашей интеллигенции, оторвалась от нас дорогая по воспоминаниям частица нашего существа, нашей интеллигентской природы. И каждый русский интеллигент должен живо чувствовать эту смерть и должен задуматься на могиле Н. К. над своим историческим прошлым и над своими обязанностями пред будущим.

Когда-то в дни ранней юности все мы зачитывались Михайловским, он будил нашу юную мысль, ставил вопросы, давал направление нашей проснувшейся жажде общественной правды. Потом мы ушли от нашего первоначального учителя, переросли его, но бьемся и до сих пор над поставленными им проблемами, так тесно сблизившими философию и жизнь. Это очень характерно: Михайловский никогда не был философом по способу решения различных вопросов и по недостатку философской эрудиции, но беспокоили его всю жизнь именно философские вопросы, и у порога его сознания уже поднимался бунт против ограниченности позитивизма. В этом он был типическим русским интеллигентом, полным философских настроений, но лишенным философской школы и связанным предрассудками позитивизма. Мы любили и любим Михайловского за ту духовную жажду, которая так резко отличает русскую интеллигенцию от мещанства интеллигенции европейской". Я думаю, что духовная связь и родство с Михайловским как Бердяева, так и других современных русских писателей (всей той группы, которая дала тон и направление "Проблемам Идеализма" и "Вопросам жизни") гораздо теснее и прочнее. Михайловский не знал немецкой философии и смешивал трансцендентное с трансцендентальным. Михайловский не любил метафизики. Это, конечно, так. Но ведь это, право, дело вкуса, и при других обстоятельствах поколению 90-х годов вовсе не было бы и надобности ополчаться против старого учителя. И, пожалуй, слова "мы переросли его" менее всего подходят. Именно возрастом-то молодые писатели не старше Михайловского. Они приобщились европейской культуре, читают Платона, интересуются Леонардо да Винчи, Боттичелли, заглядывают в священное писание, но молодостью, молодой верой запечатлены все их дела и помыслы. Вот этот гранит, который не могут сдвинуть с места никакие бури и сомнения - он был у Михайловского, он есть и в Бердяеве, и во всех его товарищах по литературе. Если бы Бердяев хотел со всей полнотой выразить смысл и значение своей духовной близости с Михайловским, ему бы следовало процитировать знаменитый отрывок из предисловия к полному собранию сочинений Михайловского. Хотя он всем известен, но я привожу его целиком для характеристики не Михайловского, а Бердяева. "Всякий раз, как мне приходит в голову слово "правда", я не могу не восхищаться его поразительной внутренней красотой. Такого слова нет, кажется, ни в одном европейском языке. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое. Правда в этом огромном смысле слова всегда составляла цель моих исканий... Я никогда не мог поверить, чтобы нельзя было найти такую точку зрения, в которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя". Правда-истина живет в мире и согласии с правдой-справедливостью, иначе говоря, существует нравственный миропорядок, вполне соответствующий человеческим понятиям о должном и недолжном, желательном и нежелательном. При том Бердяев, как и Михайловский, как и предшественники Михайловского в русской литературе, не удовлетворяются позицией идеалистов. Идеалисты из немцев, как известно, утвердив понятие о должном, складывают руки. Им все равно уже затем, осуществляется ли в мире это должное, или остается жить только в их головах. Михайловский, а за ним и Бердяев такого рода отвлеченностью не удовлетворяются. Им подавай должное, которое осуществляется если не сейчас на глазах и не здесь на земле, то хоть позже и подальше, но непременно осуществляется. Не немцы же мы, в самом деле, какие-нибудь. Пусть попытается кто-нибудь хоть на минуту, хоть в виде предположения вырвать у Михайловского или Бердяева допущение, что объективная истина сама по себе, а справедливость - сама по себе. Вперед говорю: даром время потратить. Поэтому я продолжаю настаивать, что Бердяев, как и Мережковский, и Булгаков только по недоразумению считают себя продолжателями дела Достоевского. Когда Достоевский висел на кресте, он усомнился во всем и до конца усомнился. Его книги выиграли от этого в напряженности - но его "философская концепция" потеряла всю сладость, свойственную так называемому синтезу. Разумеется, из того, что Достоевский под пыткой отрекся от сладости, несколько не следует, что Бердяеву, Мережковскому или Булгакову полагается пить уксус, смешанный с желчью. Я хотел только установить факт, что никогда еще сомнению не удалось подкопаться под непоколебимый гранит веры Бердяева в торжество добра, и что в этом отношении он не уступает Михайловскому и имеет все преимущества перед Достоевским, не выдержавшим испытания. И это не психологическая догадка, а факт. Откуда у его добыл - не скажу, но, чтоб успокоить скептического читателя, сообщу, что добыл его отнюдь не путем мистического откровения, а общепризнанным эмпирическим путем.

При всем том, Бердяев все-таки имеет (уже в противоположность Михайловскому) вкус к Глупости, и это обстоятельство кажется мне чрезвычайно отрадным. Если даже такие прочные, гранитные люди пресытились

здравым смыслом и хоть для развлечения начинают искать общества Глупости – значит, можно еще кой на что надеяться. Правда, основание не гранитное. Но по нынешним временам и того будет достаточно.

IV

Du choc des opinions jaillit la vérité – говорят французы. Я этого не думаю. По мне, мнения могут себе сталкиваться сколько им угодно, этим истины не выманишь. Она слишком умна и отнюдь не выскакивает при обычном шуме: ее и более тонкими ухищрениями не поймашь. Последствие столкновения мнений – столкновение людей. Но все-таки, так как в книге Бердяева, о которой я пишу, помещена статья "Трагедия и обыденность", посвященная мне, то я считаю себя обязанным ответить на представленные им возражения. Мне, в сущности, не столько даже возражать придется, сколько выяснять недоразумения. Бердяев в тех случаях, когда он со мной соглашается, приводит обыкновенно мои слова и подкрепляет их собственными соображениями. В тех же случаях, когда он хочет спорить, он уже не цитирует меня и даже не возражает собственно мне, а восстает против тех или иных философских воззрений, к последователям которых он меня причисляет – по причинам, мне решительно неизвестным. По поводу моей книги "Апофеоз беспочвенности" он причисляет меня к скептикам, за "философию трагедии" к пессимистам, и затем начинает доказывать несостоятельность скептицизма и пессимизма. Между прочим, и другие критики приписывают мне те же грехи. Хочу воспользоваться случаем и заявить (спорить ведь тут не приходится), что когда я впервые услышал, что меня окрестили скептиком и пессимистом, я просто протирал глаза от удивления. Правда, я не выражаю солидарности с существующими философскими системами и смеюсь над их самоуверенной торжественностью победителей. Но, господа, разве это значит быть скептиком? Правда и то, что я не считаю наш мир самым лучшим из возможных миров. Мне, действительно, кажется, что он мог быть лучшим. Т. е. собственно говоря, внешний мир мне очень нравится. Я люблю и день, и раннее утро, и сумерки, и глубокую ночь. Чудесны высокие снежные горы и зеленые долины. А как хороши безлюдные, каменистые пустыни в Альпах! Даже зимняя метель и бесконечный осенний дождь имеют свою прелесть!.. Словом, во внешнем мире мне все или почти все нравится (сейчас вот даже не могу припомнить, что в нем есть дурного). Только человека обидела природа. Ему бы следовало быть умней, красивей, добрее, даровитей, богаче... Неужели желать этого значит рисковать, что тебе пришью ярлык пессимиста?! Или, пожелаешь не уверуешь ни в одну из существующих великих философских систем, то попадешь в скептики? Ведь из того, что до сих пор истина не открыта, никак не следует, что ее никогда не откроют. И тем менее, что истины совсем нет. Или тот человек, который ждет истины и не называет истиной первое встречное заблуждение есть скептик? Я склонен думать обратное. По мне, именно скептики, люди, в глубине души убежденные в том, что нечего искать, ибо все равно ничего не найдешь, такие-то люди охотнее всего фанатически поддерживают однажды усвоенную систему. Затем, если Бердяеву дозволено каждые полгода менять убеждения, и если, судя по приведенному выше определению подвижного догматизма, он собирается начать их менять каждые полмесяца, то почему мне их не менять еще чаще? Это уже, так сказать, дело темперамента. Бердяев скор, а я еще скорее. Он уже во многие философии верил, а я уже верил во все и так привык менять их, что теперь, как я уже говорил, иной раз за один день сколько их переменяешь! Это не скептицизм, а подвижный, адогматический догматизм. Как видит читатель, выражение пришлось мне по вкусу. Прежде я говорил просто "догматизм", теперь всегда буду говорить "адогматический догматизм". В погоне за другими глупостями я эту просмотрел. Спасибо Бердяеву. Уже не забуду.

Второе – Бердяев, возражая мне, ловит меня на слове: "На этом месте, – говорит он, – я ловлю автора "Апофеоза". Что такое свободная мысль, что такое мысль? Это уже некоторая предпосылка, ведь всякая мысль есть уже результат переработки переживаний, опыта тем убийственным инструментом, который мы называем разумом, в ней уже обязательно есть последовательность". Что правда – то правда. Поймал. Только зачем ловить было? И разве так книги читают? По прочтении книги нужно забыть не только все слова, но и все мысли автора, и только помнить его лицо. Ведь слова и мысли только несовершенные средства общения. Нельзя душу ни сфотографировать, ни нарисовать, ну и обращаешься к слову. Давно известно, что мысль изреченная есть – ложь. А Бердяев ловит меня. Вместо того, чтобы

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
по человечеству, созная, как невозможно найти адекватные выражения,
прийти ко мне на помощь и догадаться, он мне в колеса палку вставляет.
Совсем не по-товарищески.

Этим, кажется, исчерпываются все возражения Бердяева. Т. е., по правде
сказать, есть у него еще одно, хотя мимоходом сделанное, но очень
существенное и важное. Его я, однако, касаться не буду, так как не умею на
него ответить, а признаться в этом не хочу. Пусть уж лучше никто ничего не
знает.

В заключение от всей души приветствую книгу Бердяева и воспетую в ней
Глупость. Бердяев несомненно человек очень даровитый, и в нашей литературе
найдутся немногие, которые владели бы его искусством опорочивать здравый
смысл и возвеличивать Глупость. Одно только нехорошо. Бердяев часто
повторяет общепринятые, распространенные, привычные, так сказать, глупости.
Это, по-моему, бесцельно. Ведь привычные глупости как две капли воды похожи
на умные вещи. Так стоит ли с ними возиться? Всегда следует стараться
выдумывать совершенно новые глупости, а если это не удастся, то откапывать
хоть и бывшие в употреблении, но мало кому известные или забытые, словом,
непривычные. Воспеть, например, Одина, рыжебородого Тора, нашего Перуна или
хотя бы Магомета! Вот как Гете после поездки в Константинополь. Шлегель
говорил про него, что он из язычества обратился в магометанство.

Еще одно замечание. В послесловии своем Бердяев чересчур уже поносит
эмпирический мир. Называет его коростой. В увлечении спора часто случается
с человеком то же, что случилось в двумя девицами, игравшими в шахматы.
Забрали одна у другой королей и продолжали играть дальше. Нападая на
позитивистов, Бердяев отказался от эмпирического мира. Неужели все о душе,
да о душе хлопотать?! А тело? Не знаю, заразил ли меня Леонтьев духом
противоречия, но мне хочется сказать вместе с Гейне: *die Seele könnt
ihr begraben, hab'selber Seele genug.*

*1 С точки зрения вечности (лат.).

*2 Духовную связь (лат.).

1 См. недавно вышедшую книгу Булгакова "Краткий очерк политической
экономии". В ней проводится очень либеральная точка зрения, ни сколько не
уступающая другим либеральным точкам зрения. В обыкновенных политических
экономиях гуманные взгляды (о возмутительности крепостного права, гаремов,
ростовщичества, эксплуатации рабочих и т. д.) обосновываются на морали, у
Булгакова - на религии. В этом вся разница.

*3 Природа созданная (лат.).

*4 Вольнодумец (фр.).

*5 Противоречие в определении (лат.)

Предпоследние слова

De omnibus dubitandum. [1 - всё подвергать сомнению (лат.).] Теперь уже
среди философов осталось мало правоверных гегельянцев, но Гегель все еще
продолжает владеть умами наших современников. Некоторые идеи его и теперь,
пожалуй, пустили более глубокие корни, чем в эпоху расцвета гегельянства.
Например, мысль, что история есть раскрытие идеи в действительности или,
выражаясь кратко и в терминах, более близких современному уму, идея
прогресса. Попробуйте переубедить в этом пункте образованного человека:
наверное потерпите поражение. Но - *de omnibus dubitandum* - иначе говоря, в
тех случаях, когда убеждение особенно крепко и непоколебимо, сомнение и
призвано исполнить великую свою миссию. А потому, хочешь не хочешь,
приходится сделать допущение, что так называемый прогресс, т. е. развитие
человечества во времени - есть фикция. Хотя у нас есть беспроволочный
телеграф, радиий и все прочее, но все же мы стоим не выше древних римлян или
греков. Допускаете?

В таком случае еще один шаг: хотя у нас есть беспроволочный телеграф и все
прочие блага цивилизации, а все же мы стоим не выше краснокожих и

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
чернокожих дикарей. Вы протестуете – но принцип обязывает: начали сомневаться, так уже нечего пятиться.

В свой черед я должен признаться, что мысль о духовном совершенстве дикарей явилась у меня, когда недавно, впервые после многих лет, я случайно пересматривал сочинения Тайлора, Леббока и Спенсера. Они до такой степени уверенно говорят о преимуществах нашей душевной организации и так искренне презирают нравственное убожество дикарей, что я поневоле подумал: не кроется ли именно здесь, где все так уверены, что никто никогда не проверяет, источник заблуждения? Es ist höchste Zeit вспомнить Декарта и его правило! И как только я начал сомневаться – вся моя прежняя уверенность (ведь я, конечно, всецело разделял мнение английских антропологов) была такова... Мне стало казаться, что дикари в самом деле выше и значительнее наших ученых и не только материалистов, как думает проф. Паульсен, но также идеалистов, метафизиков, мистиков и даже верующих миссионеров (искренне верующих, а не искателей наживы и приключений), которых Европа высылает в другие части света для просвещения отсталых братьев. Мне показалось, что обычные у дикарей долговые сделки с условием их оплаты в загробном мире имеют глубочайший смысл. Я уже не говорю о человеческих жертвоприношениях! Спенсер видит в этом варварство, как и полагается образованному европейцу. Я тоже вижу варварство, ибо я тоже европеец и тоже учился наукам. Но я глубоко завидую их варварству и проклинаю свою культурность, загнавшую меня вместе с верующими миссионерами, философами идеалистами, позитивистами и материалистами в тесные пределы душевного и постылого постигаемого мира. Мы можем писать книги о бессмертии души, но наши жены не пойдут за нами в иной мир, а предпочтут влачить свою вдовью долю здесь на земле. Наша нравственность, основанная на религии, запрещает нам торопиться к вечности. И так во всем. Мы предполагаем, в лучшем случае, по-маниловски мечтаем, но жизнь наша протекает вне наших предположений и мечтаний. Кой-кто принимает еще церковные обязанности – как бы они ни были странны, и серьезно воображает, что таким способом он соприкасается мирам иным. Дальше обрядностей никто не шагу. Кант умер 80 лет от роду, если бы не холера, Гегель прожил бы сто лет, а у дикарей – у дикарей молодые убивают стариков и... не договариваю, чтоб не оскорблять слуха чувствительных людей. Снова напоминаю Декарта и его правило и спрашиваю: кто прав, дикари или мы? И если правы дикари, то есть ли история раскрытие идеи? И прогресс во времени (т. е. развитие от прошлого к настоящему и будущему) не есть ли чистейшее заблуждение? Может быть, и даже вероятнее всего, и есть развитие, но направление этого развития есть линия перпендикулярная к линии времени. Основанием же перпендикуляра может быть любая человеческая личность. Да простит мне Бог и читатель неясность последних слов. Надеюсь, что она в некоторой степени искупается ясностью предыдущего изложения.

II

Самоотречение и *mania grandiosa*. [2 – Мания величия (лат.).] Нужно думать, что ничего верного ни о самоотречении, ни о мании величия сказать не удастся, хотя каждый из нас по собственному опыту знает кой-что и о первом, и о второй. Но, как известно, невозможность разрешить вопрос никогда еще не удерживала людей от размышлений. Скорее наоборот: наиболее заманчивые для нас вопросы это те, на которые нет настоящего, обязательного для всех ответа. Я надеюсь, что рано или поздно философия получит, в противоположность науке, такое определение: философия есть учение о ни для кого не обязательных истинах. Этим раз навсегда будет устранен столь часто посылаемый ей упрек, что собственно философия сводится к ряду взаимно опровергающих мнений. Это – верно, но за это ее хвалить, а не упрекать надо, в этом нет ничего дурного, в этом есть много, очень много хорошего. А вот что у науки есть общеобязательные суждения – это дурно, мучительно дурно. Ведь всякая обязательность только стеснение. Временно можно согласиться на стеснение, надеть корсет, вериги, временно можно на что угодно согласиться. Но кто добровольно признает над собой вечный закон? Даже у спокойного и ясного Спинозы мне слышится порой глубокий вздох. И я думаю, что это он вздыхает по свободе – он, растративший всю свою жизнь, весь свой гений на прославление необходимости... После такого предисловия можно уже говорить что угодно.

Мне кажется, что и самоотречение, и *mania grandiosa*, как, по-видимому, мало они ни похожи друг на друга, могут быть наблюдаемы последовательно, даже одновременно в одном и том же человеке. Аскет, отказавшийся от жизни, смиряющийся пред всеми и сумасшедший (вроде Ницше или Достоевского), утверждающий, что он есть светоч, соль земли, первый во всем мире или даже во вселенной, и тот, и другой приходят к своему безумию (надеюсь, нет надобности доказывать, что самоотречение, как и мания величия, есть вид безумия) при условиях, большей частью тождественных. Мир не удовлетворяет человека, и он начинает искать лучшего. Всякие же серьезные искания приводят человека на одинокие пути, а одинокие пути, как известно, кончатся китайской стеной, роковым образом полагающей предел человеческой пытливости. И вот возникает задача: воспротивиться року и так или иначе перебраться через стену, преодолев либо закон непроницаемости, либо столь же непреодолимый закон тяготения. Иначе говоря, обратиться либо в бесконечно малую, либо в бесконечно большую величину. Первый способ и есть самоотречение: мне ничего не нужно, я сам ничтожество, я бесконечно мал и, стало быть, могу пройти через бесконечно малые поры стены.

Второй способ – *mania grandiosa*. Я бесконечно силен, бесконечно велик, я все могу, могу разбросать стену, могу перешагнуть через нее, хотя бы она была выше всех гор земных и до сих пор отпугивала даже самых могучих и самых смелых. Таково, вероятно, начало двух загадочнейших и величайших душевных превращений. Нет ни одной религии, в которой бы с большей или меньшей ясностью не отпечатлелись бы следы описанных выше приемов борьбы человека с ограниченностью его сил. В аскетических религиях преобладает тенденция к самоотречению: буддизм прославляет полное уничтожение личности и идеалом считает нирвану. Древние греки мечтали о титанах и героях. Евреи считают себя избранным народом и ждут Мессии. Что касается Евангелия, – то трудно сказать, какому способу борьбы здесь отдается предпочтение. С одной стороны – великие чудеса: воскрешение мертвых, исцеление больных, власть над ветрами и морем, с другой стороны: блаженны нищие духом, Сын Божий, который будет некогда сидеть одесную силы, теперь живет в обществе мытарей, нищих, блудниц и служит им. Кто не за нас, тот против нас, обещание низвергнуть врагов к подножию ног и в геенну огненную, вечная пытка за хулу на Духа Святого – и наряду с этим заповедь величайшего смирения и любви к врагам: ударившему по одной щеке повелевается подставить другую. Евангелие все сплошь пропитано противоречиями, не внешними, не историческими и фактическими, а внутренними, противоречиями в настроениях, в "идеалах", как выразился бы современный человек. Что возносится в одной главе, как высшая задача, то низводится в другой, как недостойное дело. Нет ничего удивительного, что самые противоположные учения нашли себе оправдание в этой небольшой, наполненной состоящей из повторов книге. Христианами называли себя и инквизиторы, и иезуиты, и древние подвижники, христианами называют себя и современные протестанты, и наши русские сектанты. В большей или меньшей степени все правы, даже, пожалуй, и протестанты. В Евангелии скрещиваются столь противоположные течения, что люди, в особенности люди большой дороги, умеющие двигаться лишь в одном направлении и под одним, всем видимым знаменем, люди, привыкшие верить в единство разума и непрерываемость логических законов, никогда не могли охватить целиком евангельского учения и всегда стремились придать словам и делам Христа единообразное, исключаящее противоречия и более или менее соответствующее обычным представлениям о делах и задачах жизни толкование. "Уверуй, и по твоему слову сдвинется гора" – читали они в загадочной книге и понимали это в том смысле, что всегда, ежечасно и ежеминутно нужно думать и желать одного и того же, заранее предписанного и вполне определенного. Меж тем, Евангелие разрешает и благословляет в этих словах самые безумные и рискованные опыты. То, что есть, для Христа не существовало и существовало лишь то, чего нет.

Древний римлянин – Пилат, например, по-видимому, образованный, умный и недурной, хотя слабохарактерный человек, недоумевал и не мог дать себе отчета, из-за чего тут происходит такая страшная борьба. Ему от всей души было жаль приведенного к нему бледного молодого еврея, очевидно, ни в чем неповинного. "Что есть истина?" – спросил он Христа. Христос не ответил ему, да и не мог ответить – не по "невежественности", как хотели думать язычники, а потому, что словами на этот вопрос и ответить нельзя. Нужно было, метафорически говоря, взять Пилата за голову и повернуть в другую сторону, чтоб он увидел то, чего никогда не видел. Или, еще лучше, прибегнуть к тому способу, которым пользуется в сказке конек-горбунок, чтоб обратить сонного Иванушку в умницу и красавца: сначала в котел с кипящим молоком, потом в другой – с кипящей водой, потом в третий с водой студеной.

Есть все основания думать, что после такой подготовки Пилат стал бы иначе спрашивать. Мне кажется, что конек-горбунок согласился бы, что самоотречение и *mania grandiosa* вполне могут заменить предлагаемые сказкой котлы.

Великие лишения и великие иллюзии до такой степени меняют природу человека, что казавшееся невозможным становится возможным и недостижимое – достижимым.

III

Вечные истины. Ксенофонт в Меморабилиях рассказывает про встречу Сократа с знаменитым софистом Гиппием. Когда Гиппий пришел к Сократу, последний, по обыкновению, вел беседу и, по обыкновению же, удивлялся тому, что люди, когда им нужно обучиться плотницкому или кузнечному ремеслу, знают, к кому обратиться, но если пожелают научиться добродетели, не могут никак найти учителя. Гиппий, который уже много раз слышал от Сократа эти рассуждения, иронически заметил: "Неужели ты и теперь, Сократ, говоришь все то же, что я давно когда-то слышал от тебя?" Сократ понял и принял вызов, как вообще всегда охотно принимал такого рода вызовы. Начался спор, из которого выяснилось, что на этот раз (как и всегда у Платона и Ксенофонта) Сократ оказался более сильным диалектиком, чем его противник. Ему удалось доказать, что его понятие о справедливости имеет столь же незыблемое основание, как и все прочие, высказываемые им суждения, и что вместе с тем однажды составленные убеждения, если они истинны, так же мало подвержены действию времени, как благородные металлы действию ржи.

Сократ жил 70 лет, был однажды юношей, однажды мужем, однажды стариком. Но если бы он прожил сто сорок лет, второй раз испытал все три возраста жизни и потом снова встретился с Гиппием? Или, что еще лучше, – если душа, как учил Сократ, бессмертна и Сократ в настоящее время живет где-нибудь на Луне, Сириусе или в ином предназначенном для бессмертных душ месте, неужели он и там до сих пор донимает своих собеседников разговорами о справедливости, плотниках и кузнецах? И теперь, как когда-то, выходит победителем из спора с Гиппием и другими людьми, решающимися утверждать, что законам времени может и должно подчиняться все, в том числе и человеческие убеждения и, что от такого рода подчинения человечество не только ничего не теряет, но даже много выигрывает.

IV

Земля и небо. Слово "справедливость" на устах у всех. Но в самом ли деле справедливость в такой цене у людей, как это может показаться, если поверить тому, что о ней говорилось и говорится? Более: ценят ли ее в такой мере ее присяжные защитники и хвалители – поэты, философы, моралисты, богословы – даже лучшие из них, наиболее искренние и даровитые? Я позволю себе очень и очень сомневаться в этом. Посмотрите творения любого мудреца древнего и нового мира. Справедливость – если ее понимать как равенство всех живых людей пред законами творения – а как ее иначе понимать? – никого никогда не занимала. Платон ни разу не спрашивает судьбу, отчего она Терсита создала презренным, а Патрокла – благородным. Платон убеждает людей быть справедливыми, но ни разу не решаетя допросить богов по поводу их несправедливости. Если вслушаться в его речи, то, пожалуй, иной раз западет в душу подозрение, что справедливость есть добродетель для смертных, у бессмертных же свои собственные добродетели, ничего общего со справедливостью не имеющие. И вот последнее искушение для земной добродетели. Мы не знаем, смертна или бессмертна человеческая душа. Одни, как известно, верят в бессмертие, другие такую веру высмеивают. Если бы оказалось, что и те и другие неправы и что судьба людей после смерти, как и при жизни, далеко не одинакова: удачники, избранники переселяются на небеса, остальные остаются гнить в могилах и гибнуть вместе со своей смертной оболочкой. Такое допущение, мимоходом правда, делает наш русский пророк, жрец любви и справедливости Достоевский в "Легенде о великом

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
инквизиторе". Так вот, если бы оказалось, что Достоевский действительно бессмертен, а бесчисленное количество его верующих учеников и поклонников, та огромная масса серого (во всех смыслах) люда, о которой идет речь в "Великом инквизиторе", кончает свою жизнь со смертью, как и начинает с рождения – примирился ли бы человек, и не какой-нибудь первый попавшийся, а хотя бы сам Достоевский, которого я здесь не случайно назвал, а умышленно, как наиболее горячего защитника идеи справедливости (на земле бывали еще более горячие, страстные и замечательные защитники справедливости, может быть, их следовало бы назвать, – но на этот раз я не хочу кощунствовать, – кому Достоевский покажется малым, пусть сам назовет другого), итак, примирился ли бы Достоевский с такой несправедливостью, т. е. восстал бы ли он в загробном мире против неправды или, заняв уготовленное ему там место, позабыл бы о своих бедных братьях? A priori[3 – До опыта (лат.)] судить трудно, но a posteriori[4 – На основании опыта (лат.)] нужно думать, что забыл бы. Ведь между Достоевским и мелким провинциальным писателем, между первыми и последними на земле тоже разница колоссальная, и несправедливость такого неравенства вопиет к небесам. Тем не менее мы, ничего, живем здесь и не вопим, а если и вопим, то очень редко, причем, по правде говоря, трудно с уверенностью сказать, отчего, собственно, мы вопим: оттого ли, что хотим привлечь внимание равнодушного неба, или оттого, что среди наших ближних есть много любителей воплей (литературных дарований). Вроде странницы в "Грозе", которая страсть любила, когда кто хорошо воет. Все эти соображения могут показаться особенно важными тем, которые, подобно мне в настоящую минуту (за завтрашний день не ручаюсь) разделяют суждение Достоевского, что если и существует бессмертие, то, разумеется, не для всех, а для некоторых. Причем я еще, в согласии с Достоевским, допускаю, что воскреснут именно те, которых, по существующим предположениям, ждет худшее после смерти. Первые здесь будут первыми и там, а от последних не останется даже и воспоминания. И за погибших некому даже будет вступиться: Достоевские, Толстые и все другие "первые", которым удастся попасть на небо, будут заняты несравненно более важными делами...

Теперь, если угодно, продолжайте заботиться о справедливом устройстве на земле и кладите, вслед за Платоном, учение о справедливости в основание философии.

V

Сила доказательств. Шопенгауэр вопрос о бессмертии души разрешал отрицательно. По его мнению, человек как Ding an sich[5 – Вещь в себе (нем.)] бессмертен, но как явление – смертен. Иначе говоря, все, что есть в нас индивидуального, существует лишь в промежутке между рождением и смертью, но так как каждый индивидуум, по учению Шопенгауэра, есть проявление "воли" или "Ding an sich", того вечного и неизменного начала, которое представляет из себя единую сущность мира, объективирующуюся во множественности явлений, то постольку, поскольку это начало проявляется в человеке, он – вечен. Таково, говорю, мнение Шопенгауэра, являющееся, по-видимому, последовательным логическим выводом из его общего философского учения как в той части, которая относится к Ding an sich, так и в той, которая относится к индивидууму. Первую часть мы оставим без рассмотрения: в конце концов, если Шопенгауэр ошибался и Ding an sich – смертна, – горе небольшое, подобно тому, как и бессмертию ее нет причин радоваться. Но вот индивидуум: у него отнимается право на бессмертие и в доказательство приводится соображение, на первый взгляд совершенно неопровержимое. Все, что имеет начало, имеет также и конец, говорит Шопенгауэр. Индивидуум имеет начало (рождение), стало быть, его ждет и конец (смерть). Самому Шопенгауэру и положение, и вывод казались до такой степени очевидными, что он ни на минуту не допускал возможности ошибки. А меж тем, на этот раз мы имеем бесспорный случай ошибочного заключения из ошибочной предпосылки. Ибо, во-первых: отчего все, что имеет начало, должно также иметь и конец? Эмпирические наблюдения наводят на такое предположение, – но разве эмпирических наблюдений достаточно, чтоб создавать предпосылки? И разве так добытые предпосылки вправе мы применять в качестве незыблемых положений для разрешения важнейших философских вопросов? А затем, допустим даже, что посылка правильна, все же вывод, к которому пришел Шопенгауэр, сделан неверно. Может быть, действительно, все, имеющее начало, имеет конец, может быть, индивидууму рано или поздно суждено погибнуть, но почему приурочивать

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
момент уничтожения души к смерти тела? Может быть, тело умрет, а душа, которую впоследствии ждет та же участь, хоть немного, не на веки вечные, как думают крайние оптимисты, да поживет еще, разыскавши себе более или менее подходящую материальную оболочку где-нибудь на дальней, может, еще неизвестной нам планете. Как важно было бы бедному человечеству хоть такую надежду сохранить! Тем более, что едва ли мы знаем наверняка, чего желают люди, когда говорят о бессмертии души. Точно ли им непременно нужно вечно жить, или они удовольствовались бы еще одной, двумя жизнями, особенно если бы последующие жизни оказались бы не столь обидно незначительными, как наше земное существование, в котором даже чин XIV класса составляет для многих недостижимый идеал. Мне кажется, что далеко не всякий согласится жить вечно. А что, если исчерпаются все возможности и начнутся бесконечные повторения?..

Из сказанного, конечно, не следует, что мы имеем право рассчитывать на загробное существование: вопрос по-прежнему остается открытым и после опровержения шопенгауэровских доказательств. Но несомненно следует, что самые лучшие доказательства при ближайшем рассмотрении часто оказываются никуда негодными. *Quod demonstrandum erat* [б - что и доказано (лат.).] - разумеется, до тех пор, пока не найдутся доказательства, которые опровергнут мои опровержения доказательств Шопенгауэра. Оговорку эту сделал для того, чтобы лишить критиков удовольствия и возможности поиграть словами.

VI

Лебединые песни. Нельзя сомневаться в том, что "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" - одна из наиболее автобиографических пьес Ибсена. Почти все его драмы носят заметные следы личных переживаний - даже более того, по-видимому, самое ценное в них, это возможность проследить историю внутренней борьбы автора. Но, быть может, особенное значение среди остальных драм имеет "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" ввиду того, что вещь задумана и написана автором в глубокой старости. Для тех, кому интересно подслушать и подсмотреть, о чем говорят и что делают на окраинах жизни, чрезвычайно ценна возможность общения с глубокими стариками, с умирающими, вообще с людьми, поставленными в исключительные условия, особенно в тех случаях, когда эти люди не боятся говорить правду и выработали себе прошлым опытом искусство и смелость (нужно и то, и другое) глядеть прямо в глаза действительности. Ибсен оказывается даже интереснее, чем Толстой. И Толстому его дарование не изменило до сих пор, но Толстой прежде всего моралист. Для него сейчас, как и в молодости, власть над людьми дороже всего и кажется обаятельнее всех прочих благ мира. Он все еще продолжает приказывать, требовать и хочет, чтоб ему во что бы то ни стало повиновались. Можно и даже должно, пожалуй, с вниманием и уважением относиться к этой особенности толстовской природы. Ведь не один Толстой, а многие царственные отшельники мысли до конца своей жизни предъявляли к человечеству безусловные требования подчинения. Сократ в день смерти, за час перед смертью учил, что есть лишь одна истина и именно та, которую он открыл. Платон, будучи глубоким стариком, ездил в Сиракузы насаждать свою мудрость. Вероятно, такое упорство великих людей имеет свое объяснение и свой глубокий смысл.

И Толстому, и Сократу, и Платону, и еврейским пророкам, которые в этом отношении, как и во многих других, были очень похожи на учителей мудрости, вероятно, нужно было всецело сосредоточить свои силы на одной огромной внутренней задаче, условием удачного выполнения которой является иллюзия, что весь мир, вся вселенная действует заодно и в унисон с ними. Я уже указывал по поводу Толстого, что в настоящее время он в своем миропонимании находится на границе солипсизма. Толстой и весь мир - равнозначные понятия: без такого временного заблуждения всего его существа (не умственной, головной ошибки: голова знает хорошо, что мир - сам по себе, Толстой - сам по себе) ему пришлось бы отказаться от самого важного своего дела. Это вроде того, как все мы знаем после Коперника, что Земля движется вокруг Солнца, знаем, что каждая из звезд не чистый и ясный золотой кружок, а огромная глыба разнообразного состава, что голубого, твердого купола нет над нами. Знаем - а тем не менее не можем и не хотим ослепить себя, чтоб не любоваться ложью оптических иллюзий видимого мира. Так называемая истина

имеет для нас только ограниченную ценность. Жертва Галилея отнюдь не опровергает мои слова. *E pur si muove*, [7 – А всё-таки она движется (итал.).] если он и произнес эту фразу, она могла вовсе и не относиться к движению Земли, хотя говорилось о Земле. Галилей не хотел предавать дела своей жизни. Кто нам, однако, поручится, что на такое самопожертвование способен не только Галилей, но и ученик его, хотя бы самый преданный и смелый ученик, из уст учителя, а не собственной борьбой добывший новую истину? Апостол Петр за одну ночь трижды отказался от Христа. Теперь, вероятно, во всем мире мы не нашли бы ни одного человека, который бы согласился умереть в доказательство и ради защиты идеи Галилея. По-видимому, великие люди очень мало склонны посвящать в тайны своих великих дел посторонних лиц. По-видимому, даже они сами не всегда умеют дать себе ясный отчет в характере и смысле поставляемых ими себе задач. Сам Сократ, так упорно искавший всю жизнь свою ясности, выдумавший для этой цели диалектику и введший во всеобщее употребление определения, имевшие своим назначением фиксировать текучую действительность, Сократ, перед смертью тридцать дней подряд убеждавший своих учеников в том, что он умирает ради истины и справедливости, – сам Сократ, говорю я, может быть, и даже вероятнее всего так же мало знал, зачем он умирает, как знают об этом простые люди, умирающие естественной смертью, или как знают родившиеся на свет младенцы, кто и какой – враждебной либо благожелательной властью – вызвал их от небытия к бытию. Такова наша жизнь: в ней мудрецы и глупцы, старики и младенцы идут наугад к целям, которые не обнаружены до сих пор ни светскими, ни духовными, ни обыкновенными, ни священными книгами. Все эти соображения я напомнил отнюдь не затем, чтоб лишний раз посрамить догматизм. Я всегда был убежден и до сих пор уверен, что догматики сраму не имеют, и что их никоим образом не выживешь со свету. В последнее же время я, кроме того, пришел к заключению, что догматики совершенно правы в своем упорстве. Вера, потребность веры сильна, как любовь, как смерть. По отношению к каждому догматику я в настоящее время считаю своей священной обязанностью вперед идти на все уступки, вплоть до признания малейших и незначительнейших оттенков его убеждений и верований. Единственное ограничение, очень незаметное, почти невидимое: его убеждения не должны быть безусловно общеобязательными, т. е. для всех без исключения людей. Большинство, огромное большинство – миллионы, даже миллиарды людей я ему охотно уступаю при предположении, что они сами того захотят, или что он окажется достаточно искусным, чтоб переманить их на свою сторону (ведь насилие в деле веры недопустимо?). Словом, я ему уступаю почти всех людей, зато он должен согласиться, что для оставшихся единиц или десятков его убеждения внутренне не обязательны (на внешнюю покорность я иду). Так что догматик после такой победы – мое признание ведь для него полная победа – должен считать себя вполне удовлетворенным.

Сократ был прав, Платон, Толстой, пророки – правы, есть только одна истина, один Бог, истина вправе уничтожать ложь, свет – тьму, Бог, всезнающий, всеблагой и всемогущий, как Александр Македонский, завоеует почти весь известный ему мир и из своих владений при торжественных и радостных кликах миллиардов верноподданных изгонит дьявола и всех непокорных божескому слову. Но от власти над душами своих немногочисленных противников, согласно условию, откажется, и несколько отступников, собравшись на отдаленном и невидимом для миллиардов острове, будут продолжать свою вольную, особенную жизнь. И вот – чтобы вернуться к началу – среди этой горсточки непокорных окажется и Ибсен, каким он был в последние годы своей жизни, каким он рисуется в последней драме. Вероятно, мы там и нашего Гоголя встретим. Ибо в "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" Ибсен санкционирует и прославляет то, что пятьдесят лет тому назад сделал Гоголь. Он отказывается от своего искусства, с ненавистью и с насмешкой вспоминает о том, что было когда-то делом его жизни. 15 апреля 1866 года Ибсен писал королю Карлу: "Я не борюсь за беззаботное существование, я борюсь за свою жизненную задачу, в которую непоколебимо верю и которую, я знаю, Бог возложил на меня". К слову сказать, вы не назовете почти никого из великих деятелей, который не повторял бы в той или иной форме приведенного утверждения Ибсена. По-видимому, без такого рода иллюзии, временной или постоянной, невозможна та напряженная борьба и те жертвы, ценой которых покупаются великие дела. По-видимому, даже и для успеха малых дел необходимы разного рода иллюзии. Ведь для того, чтобы маленькому человеку сделать свое микроскопическое дело, ему тоже часто приходится до крайности напрягать свои маленькие силки. И кто знает? – не казалось ли Акакию Акакиевичу, что Богом на него возложена задача аккуратно переписывать канцелярские бумаги и сшить себе новую шинель? Он, конечно, никогда бы этого не дерзнул, да и не умел бы сказать, прежде всего по своей робости, а затем еще и потому, что не владел

даром слова. Музы же бедным и слабым людям не несут своей дани: они воспевают только крестов и кесарей. Но несомненно, что первые в деревне считают себя так же отмеченными судьбой, как и первые в Риме. Цезарь чувствовал это, и в нем говорило не одно только честолюбие, когда он произносил свою известную фразу. Люди не верят себе и стремятся всегда занять такое положение, при котором у них возникает правильная или ложная уверенность, что они находятся на виду у Бога. Но с годами все иллюзии рассеиваются, рассеивается и иллюзия о том, что Бог избирает некоторых людей для своих особых целей и возлагает на них особенные поручения. Гоголь, долго так именно понимавший свою писательскую задачу, перед смертью сжигает свое лучшее произведение. Ибсен делает почти то же. В лице профессора Рубека он отрекается от своей литературной деятельности и высмеивает ее, хотя она принесла ему все, на что он мог рассчитывать: славу, почет, богатство... И из-за чего, подумайте только? Из-за того, что ему пришлось пожертвовать в себе мужчиной ради художника, покинуть Ирену, которую он любил, и жениться на женщине, к которой он был равнодушен. Или, под конец жизни, Ибсен выяснил себе, что сам Бог возложил на него задачу быть мужчиной? Но ведь мужчины все, художники – единицы. Если бы это сказал не Ибсен, а простой смертный, мы назвали бы это величайшей пошлостью. Но в устах Ибсена, семидесятилетнего старика, автора "Бранда", того "Бранда", из которого европейские священники черпают темы и материал для проповедей, в устах Ибсена, написавшего "Кесарь и Галилеянин", такое признание приобретает неожиданный и загадочный смысл. Тут уж не отделаешься качаньем головы, презрительной усмешкой. Не кто-нибудь – сам Ибсен говорит. Первый человек не в деревне, не в Риме даже – первый во всем мире. Говорит громко, уверенно, *urbī et orbī*. [8 – На весь мир (лат.).] Вот уж подлинно человеческий закон: от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Может быть, тут уместно будет вспомнить о лебединых песнях Тургенева. У Тургенева тоже были высокие идеалы, которые, вероятно, ему казались полученными непосредственно от Бога. фразу, которой заканчивается замечательная статья его "Гамлет и Дон Кихот", можно смело вложить в уста самому Бранду. "Все проходит – добрые дела остаются" – в этих словах весь Тургенев, лучше сказать – весь сознательный Тургенев того периода своей жизни, к которому относится названная статья. Впрочем, не только того – до последних минут жизни сознательный Тургенев не отказался бы от этих слов. Но в "стихотворениях в прозе" звучит совсем иной мотив. Все, о чем он там рассказывает, как и все, о чем рассказывает Ибсен в последней своей драме, пропитано одной бесконечной, неутолимой тоской о бесплодно растроченной жизни, – жизни, ушедшей на проповедь "добра". И ни молодости, ни здоровья, ни прежних сил не жаль! Может быть, и смерть не страшна... Чего не может вытравить из себя старик Тургенев – это воспоминания о "русской девушке". Он писал и воспел ее, как никто другой до него в русской литературе не описывал, но она была для него только моделью, он не прикоснулся к ней, как Рубек-Ибсен к Ирене, и ушел к Виардо. И это страшный грех, ничем не искупаемый, смертный грех – тот, о котором говорится в Библии. Все простится, все проходит, все забудется – это преступление навеки останется. Таков смысл "Senilia" Тургенева, таков смысл "Senilia" Ибсена. Я нарочно назвал слово "Senilia", хотя мог бы говорить о лебединых песнях и хотя правильной было бы говорить о лебединых песнях. "Лебеди, – рассказывает Платон, – когда чувствуют приближение смерти, поют в этот день лучше, чем когда бы то ни было, радуясь, что они найдут Бога, которому они служат". Ибсен и Тургенев служили тому же Богу, что и лебеди, по верованию греков, – светлему богу песен Аполлону. И их последние песни, их *Senilia* были лучше, чем все прежние. В них бездонная, страшная для глаза, но какая дивная глубина! Все там по-иному, чем здесь у нас на поверхности. Довериться ли соблазну, идти ли на призыв великих стариков, или привязать себя к мачте проверенных общечеловеческим опытом убеждений и зажать уши, как сделал когда-то хитроумный Одиссей, чтоб спастись от сирен? Есть выход, есть слово, которым можно разрушить очарование. Я назвал уже его: *Senilia*. Тургенев хотел так озаглавить свои "стихотворения в прозе". Проявления болезни, немощности, старости. Это – страшно, от этого нужно бежать! Шопенгауэр, философ-метафизик боялся в старости переделывать свои юношеские произведения. Ему казалось, что он может испортить их одним своим прикосновением. И все не верят старости, все разделяют опасения Шопенгауэра. А что, если все ошибается? Что, если *Senilia* приближают нас к истине? Может быть, вещие птицы Аполлона тоскуют неземной тоской по иному бытию, может, их страх относится не к смерти, а к жизни, может быть, и в стихотворениях Тургенева, и в последней драме Ибсена уже слышны, если не последние, то, по крайней мере, предпоследние человеческие слова.

VII

Что такое философия? В учебниках философии на этот вопрос вы найдете самые разнообразные ответы. За две с половиною тысячи лет своего существования философия имела возможность сделать огромное количество попыток определить сущность своей задачи. Но соглашение между признанными представителями любителей и любимцев мудрости до сих пор еще не достигнуто. Всякий судит по-своему, свое суждение считает единственно истинным – но о consensus sapientium [9 – Соглашение мудрецов (лат.).] здесь даже и мечтать нельзя. Но, странным образом, именно в этом спорном пункте, где так невозможно соглашение ученых и мудрецов, вполне достигнуто consensus profanorum. [10 – Соглашение профанов (лат.).] Все те, кто никогда философией не занимался, кто вообще никогда не читал ученых книг, даже никаких книг, с редким единодушием отвечают на наш вопрос. Правда, об их мнениях нельзя; по-видимому, прямо судить, потому что такого рода люди совсем не умеют говорить выработанным наукой языком, никогда в такой форме вопроса не ставят и еще менее умеют отвечать на него принятыми словами. Но у нас есть одно важное косвенное указание, которое дает нам право сделать заключение. Несомненно, что все те люди, которые шли к философии за ответами на мучившие их вопросы, уходили от нее разочарованными, если только у них не оказывалось достаточно выдающегося дарования для того, чтобы примкнуть к цеху профессиональных философов. Из этого без колебания можно сделать вывод, пока, правда, отрицательный: философия занимается таким делом, которое может быть интересным и важным только для некоторых, для многих же оно представляется скучным и ненужным.

Вывод в высокой степени утешительный как для профанов, так и для мудрецов. Ибо каждый мудрец, даже самый прославленный, вместе с тем и профан, т. е., бросив академическое словоупотребление, просто-напросто человек, с ним тоже может случиться, что и у него возникнут те мучительные вопросы, с которыми являлись к нему же обыкновенные люди, к примеру сказать, толстовский Иван Ильич или чеховский профессор (из "Скучной истории"). И тогда, разумеется, он вынужден будет признать, что в тех толстых книгах, которые он так хорошо изучил, нужных ответов нет. И радоваться этому. Ибо, что может быть ужаснее для человека, чем необходимость в трудные минуты жизни признать обязательность какого бы то ни было философского учения? Например, думать вместе с Платоном, Спинозой или Шопенгауэром, что главная задача жизни – нравственное совершенствование, иначе говоря, самоотречение. Хорошо было Платону проповедовать справедливость! Это ему несколько не мешало быть сыном своего времени, т. е. в допустимых размерах нарушать заповеди, им же возвещаемые, Спиноза, по всем видимостям, был гораздо выдержаннее и последовательнее Платона, он на самом деле держал страсти в повиновении. Но это был его личный, индивидуальный вкус. Последовательность была не только свойством его ума, но всей его натуры. Проявляя ее, он проявлял себя. Что до Шопенгауэра, то он, как известно, восхвалял добродетели только в своих книгах. В жизни же, как и всякий независимый и умный человек, руководствовался самыми разнообразными соображениями.

Но все это – учителя, люди, выдумывающие системы и императивы. Ученик же, ищущий у философии ответов на свои вопросы, не может разрешать себе никаких вольностей и отступлений от общих правил, ибо сущность и основная задача каждого учения сводится к тому, чтоб подчинить не только поведение людей, но и жизнь всей вселенной единому регулирующему принципу. Отдельные философы такие принципы находили, но окончательного соглашения между философами до сих пор еще нет, и это до некоторой степени облегчает положение тех несчастных, которые, потеряв надежду отыскать помощь и руководство в иных местах, обратились к философии. Раз тут нет общего, всеми признанного, обязательного принципа, – значит, что пока, по крайней мере, разрешается каждому думать, чувствовать и даже поступать по-своему. Можно послушаться Спинозы, можно и не послушаться. Можно преклониться пред вечными идеями Платона, но можно отдать предпочтение всегда изменчивой, текучей действительности. Наконец, можно принять пессимизм Шопенгауэра, но никто и ничто не в силах навязать вам безбрачие на основании того, что Шопенгауэр удачно высмеивал любовь. И чтоб завоевать себе такую свободу, вовсе нет нужды вооружаться легкой диалектикой древнего греческого философа, тяжеловесной логикой бедного голландского еврея или тонким остроумием глубокомысленного немца. Их вовсе и оспаривать не нужно. Можно даже со всеми согласиться. Мировое пространство бесконечно и не только

вместит в себя всех когда-либо живших и имеющих народиться людей, но даст каждому из них все, чего он пожелает. Платону – мир идей, Спинозе – единую, вечную и неизменную сущность, Шопенгауэру – буддийскую нирвану. Каждый из них и все другие, здесь не упомянутые философы, светские и духовные, найдут во вселенной то, что им нужно, вплоть до веры, даже убеждения, что их учения суть единственно истинные и всеобъемлющие учения. Но одновременно и профаны отыщут для себя подходящие миры. Из того, что на земле людям тесно, из того, что здесь приходится неимоверными усилиями отвоевывать каждую пядь земли и даже наши призрачные свободы, никак не следует, что бедность, темнота, деспотизм должны считаться вечными, премирными началами, и что экономное единство есть последнее прибежище для человека. Множественность миров, множественность людей и богов среди необъятных пространств необъятной вселенной, – да ведь это (да простится мне слово) идеал! Правда, не идеалистически обоснованный. Зато, какой вывод впереди! Философов спорящих и доказывающих мы оставим в стороне, раз дело дошло до богов. По существующим верованиям и предположениям и боги всегда ссорились меж собой и боролись. Даже в монотеистических религиях люди всегда принуждали своего Бога вступать в борьбу и даже придумывали для него нарочитого соперника – дьявола. Люди никак не могут отделаться от мысли, что на небе все происходит совсем как на земле, и все свои, как дурные, так и хорошие качества приписывают также и небожителям. Меж тем как, вероятнее всего, многого из того, что по нашим представлениям совершенно неотделимо от жизни, на небе нет. Нет, между прочим, и борьбы. И это – хорошо. Ибо всякая борьба неизбежно рано или поздно переходит в драку. Когда исчерпывается запас логических и этических доводов, непримирившимся противникам остается одно – вступить в рукопашную, которая обыкновенно и решает исход дела. Оценка логических и этических соображений произвольна, материальная же сила измеряется пудо-футами, ее даже можно заранее учесть. Так что, стало быть, там, где, по общему предположению, не будет пудо-футов, исход борьбы очень часто будет оставаться нерешенным. Когда лермонтовский демон направляется в келью Тамары, его встречает на пути ангел. Демон говорит, что Тамара принадлежит ему, ангел требует ее себе. Словами и доводами демона не переубедишь: не на таковского напали. Об ангеле и говорить нечего: он ведь всегда считает себя вдвойне правым. Как разрешить спор? В конце концов, Лермонтов не умел или не смел придумать новый способ разрешения и допустил вмешательство материальной силы: Тамару у демона вырывают совсем так, как на земле более сильный хищник вырывает добычу у более слабого. По-видимому, поэт допустил такую развязку, чтоб отдать дань традиционному благочестию. По моему мнению, решение не только не благочестиво, но – прямо кощунственно. В нем ясно еще видны невытравленные следы варварства и идолопоклонства. Богу приписываются вкусы и атрибуты, о которых мечтают земные деспоты. Он непременно должен и будто бы хочет быть самым сильным, самым первым и т. д. – совсем как Юлий Цезарь в молодости. Он больше всего боится соперничества и никогда не прощает своих несмирившихся врагов. По-видимому, это грубое заблуждение. Богу совсем не нужно быть самым сильным, самым первым. Он, пожалуй, и это было бы понятно и согласно с здравым смыслом – не хотел бы быть слабее других, чтоб не подвергнуться насилию, но нет никакого основания приписывать ему честолюбие или тщеславие. И нет, значит, никакого основания думать, что он не выносит равных себе, хочет быть превыше всех и во что бы то ни стало уничтожить дьявола. Вероятнее всего, что он живет в мире и добром согласии даже с теми, которые менее всего приспособляются к его вкусам и привычкам. Может быть, даже охотно радуется, что не все такие, как он и охотно делит с сатаной свои владения. Тем более, что от такого деления никто ничего не проигрывает, ибо бесконечное (владения Бога бесконечны, я это признаю), разделенное на два и даже на какое угодно большое конечное число, дает в результате все-таки бесконечность.

Теперь мы можем вернуться к первоначальному вопросу и, кажется, даже дать на него ответ – два ответа даже, один от имени sapientium, другой от имени profanorum. Для первых философия есть искусство ради искусства. Каждый философ старается создать стройную, разнообразную, интересно и красиво построенную систему, пользуясь, как материалом для постройки, собственным внутренним опытом, а также личными я чужими наблюдениями над внешней жизнью. Философ тоже в своем роде художник, для которого его произведение дороже всего на свете, иногда дороже жизни. Сплошь и рядом видим мы, что философы без колебания ради своего дела жертвуют чем угодно, даже истиной. Иное дело профаны. Для них философия – точнее, то, что они называли бы философией, если бы владели научной терминологией, есть последнее прибежище. Когда материальные силы расточены, когда нечем больше бороться за отнятые права, – они бегут за помощью и поддержкой в то именно место,

которого они больше всего чурались прежде. Например, Наполеон на острове Елены. Он, всю жизнь свою собиравший солдат и пушки, когда его связали по рукам и по ногам, стал философствовать. Конечно, он действовал в этой области как начинающий, очень неопытный и даже, смешно сказать, как трусливый новичок.

Он, не боявшийся ни чумных больных, ни вражеских пуль, боялся, как известно, темной комнаты. Привычные к философии люди, Шопенгауэр хотя бы, те ходят по темным комнатам смело и уверенно, хотя от выстрелов и даже менее опасных вещей сторонятся. Так вот, говорю, великий полководец, чуть ли не всеевропейский император Наполеон философствовал на острове св. Елены и даже дошел до того, что стал заискивать у нравственности, полагая, очевидно, что от нее зависит его дальнейшая судьба. Он уверял ее, что ради нее и только ради нее он затевал все свои злодейские дела – он, который до тех пор, пока на голове его была корона и в руках победоносная армия, едва ли даже знал о существовании нравственности. Но это так понятно! В 45 лет попасть в совершенно новую и незнакомую область, конечно, все будет казаться страшным и даже бесплотную нравственность примешь за властительницу судеб. И будешь думать, что ее можно обольстить сладкими речами и ложными обещаниями, как светскую даму. Но это были первые шаги непривычного человека. Наполеону так же было трудно овладеть философией, как Карлу Великому на склоне лет научиться писать. Но он знал, зачем пришел в новое место, и ни Платон, ни Спиноза, ни Кант не переубедили бы его. Может, сначала, пока еще не привык к темноте, он бы для виду согласился с признанными авторитетами, думая, что и здесь, как там, где он жил прежде, высокопоставленные особы не терпят возражений, может быть, он бы лгал перед ними, как лгал перед нравственностью – но дела своего он бы не забыл. Он пришел к философии с требованиями и не успокоился бы до тех пор, пока не получил бы своего. Он уже видел однажды, как корсиканский поручик стал французским императором. Почему же сраженному императору не вступить в последнюю борьбу?.. И примириться на самоотречении? Философия уступит, нужно только не сдаваться внутренне: так приходят к философии Наполеоны и так они ее понимают. И впредь до доказательства противного ничего не может помешать нам думать, что Наполеоны правы и что, стало быть, академическая философия не есть последнее, не есть даже предпоследнее слово. Ибо, может быть, последнее слово таят про себя неумеющие говорить, но смелые, настойчивые непримиримые люди.

VIII

Генрих Гейне. Больше ста лет прошло с рождения и пятьдесят лет после смерти этого замечательного человека, а история литературы до сих пор не свела с ним окончательных счетов. Даже немцы – его соотечественники (пожалуй, немцы в особенности), никак не могут сговориться в оценке его дарования. Одни его считают гением, другие – бездарностью и пошляком. Притом враги его до сих пор, как и когда-то, вносят в свои нападки столько страсти, как если бы они воевали не с мертвым, а с живым противником. И ненавидят его за то, за что его ненавидели его современники. Как известно, главным образом Гейне не прощали неискренности. Никто не знал, когда он говорит серьезно, когда шутит, что любит, что ненавидит и, наконец, не было никакой возможности выяснить, верит ли он в Бога или не верит. Нужно признаться, что в значительной части своих обвинений немцы были правы. Я очень ценю Гейне, по моему мнению, он один из величайших немецких поэтов, но тем не менее, я не берусь с уверенностью сказать, что он любил, во что верил и часто не могу решить, насколько серьезно высказывает он то или иное суждение. Тем не менее, я никоим образом не могу усмотреть в его сочинениях неискренности. Наоборот, те особенности его, которые так раздражали немцев, и в которых они видят несомненные признаки неискренности, в моих глазах являются доказательствами его удивительной, единственной в своем роде правдивости. По моему мнению, если немцы впали в ошибку и ложно поняли Гейне, то причина этому гипертрофия самолюбия и власть предрассудков. Обычная манера Гейне – начать речь совершенно серьезно и закончить едкой насмешкой, сарказмом. Критики и читатели, обыкновенно поначалу не догадывающиеся, что их ждет в конце, принимали неожиданный смех на свой счет, и это страшно оскорбляло их. Уязвленное самолюбие никогда не прощает, не могли и немцы простить Гейне его насмешек. А между тем, Гейне редко оскорблял других, большинство его насмешек, главным образом, относятся к нему самому, в особенности в произведениях последнего периода его творчества, той эпохи, когда он жил в

"Matrazengruft". У нас ведь тоже многие обижались на Гоголя, полагая, что он их высмеивает. Потом он признался, что описывал самого себя. И непостоянство суждений Гейне вовсе не доказывает его неискренности. Он далеко не всегда имел намерение дразнить филистеров. Он в самом деле не знал, во что ему верить, он в самом деле менял свои вкусы и привязанности и даже не всегда наверное знал, чему он в настоящий момент отдает предпочтение. Разумеется, если бы он захотел, он мог бы притвориться последовательным и постоянным. Или, если бы он был менее зорким, он мог бы, как это случается с огромным множеством людей, усвоить себе раз навсегда парадные, показные мысли и неизменно их проповедовать, нисколько не сличая их со своими действительными переживаниями и настроениями. Очень многие люди считают, что так именно и должно поступать, что нужно высказывать (особенно в литературе) только парадные, казовые, возвышенные, еще с незапамятных времен возвещенные мудрецами мысли, нисколько не справляясь о том, соответствуют ли они их собственной природе или не соответствуют. Часто жестокие, мстительные, злопамятные, себялюбивые, мелочные люди *bona fide*[11 - Чистосердечно (лат.)] восхваляют в своих сочинениях доброту, всепрощение, любовь к врагам, щедрость, великодушие, а о своих вкусах и страстях - ни слова. Они уверены, что страсти существуют лишь затем, чтобы их подавлять, скрывать, проявлять же и выставлять напоказ нужно только убеждения. Подавить страсти редко удается, скрыть же, в особенности в книгах, очень легко. И такого рода скрытность не только не преследуется, но, как известно, поощряется. Получается столь обычная и знакомая картина: в жизни страсти судят "убеждения", в книгах "убеждения" или, как говорят, идеалы судят и осуждают страсти. Подчеркиваю, что большинство писателей убеждены, что их задача - не рассказывать о себе, а воспевать идеалы. Искренность Гейне была действительно иной. Он рассказывал о себе все или почти все. И это считалось до такой степени возмутительным, что присяжные охранители обычаев и добрых нравов считали себя оскорбленными в своих лучших возвышеннейших чувствах. Им казалось, что если бы Гейне удалось приобрести большое влияние в литературе и овладеть умами современников, то это было бы величайшим несчастьем. Рушились бы устои, с таким трудом в течение столетий созданные совокупными усилиями лучших представителей нации. Это, пожалуй, правильно: возвышенное благолепие жизни сохраняется лишь при непрременном условии лицемерия. Чтоб было красиво, нужно многое скрывать, припрятывать как можно дальше и глубже. Больных и сумасшедших нужно загонять в больницы, нищету - в подвалы, непокорные страсти - в глубину души. Правде и свободе разрешается лишь постольку заявлять о себе, поскольку это совместимо с интересами благоустроенной внешне и внутренне жизни. Протестантство это понимало не хуже, а то и лучше, чем католичество. Строгий пуритантизм возвел душевную дисциплину в высший нравственный закон, который с неумолимым, беспощадным деспотизмом правил жизнью. Брак, семья, а не любовь должна быть целью человека, и бедная Гретхен, отдавшаяся Фаусту без соблюдения установленных обрядов, принуждена была сама считать себя навеки осужденной. Внутренняя дисциплина, еще более, чем внешняя, представляемая тюремщиками и палачами, оберегала устои и давала крепость и силы как государству, так и народу. Людей не щадили, с ними и не считались. Сотни, тысячи Гретхен обоих полов отдавались и поныне без сожаления отдаются в жертву "высших духовных интересов". Признание, уважение к описанному порядку вещей до такой степени вкоренилось в души немцев (я говорю немцев, потому что едва ли есть на земле еще один столь дисциплинированный народ), что ему покорялись даже наиболее независимые характеры. Самым страшным грехом считается на нарушение закона (всякое нарушение, объясняемое, как у Гретхен, слабостью и только слабостью, хотя и не прощальное, но менее строго осуждалось), а бунт против закона, открытое и дерзновенное нежелание повиноваться, хотя бы выразившееся в незначительном поступке. И потому всякий обыкновенно стремился прежде всего доказать свою лояльность с этой именно стороны. В большей или меньшей степени все отступали от закона, но чем больше приходилось нарушать закон в поступках, тем обязательней считалось восхваление его на словах. И такой порядок вещей ни в ком не возбуждал ни подозрения, ни неудовольствия. Он казался естественным и высоко нравственным. В нем видели признание первенства духа перед телом, разума перед страстями. А такого вопроса: да точно ли дух должен побеждать тело и разум страсти? - никто никогда и не задавал. И когда Гейне позволил себе такой вопрос поставить и по-своему разрешить, на него обрушилась вся сила негодования немцев. И прежде всего заподозрили его искренность и правдивость. "Не может быть, - говорили благочестивые люди, - чтоб он в самом деле не признавал закона. Он только притворяется". Такое предположение было тем более естественно, что тон Гейне далеко не всегда звучал твердым убеждением; у него, например, есть стихотворение, заканчивающееся следующими словами: "Тела, тела ищущая я, молодого и нежного

тела. Душу можете хоть совсем в землю зарыть, – души у меня самого достаточно". Стихотворение до последней степени дерзкое и вызывающее, но в нем, как и во всех дерзких и вызывающих стихотворениях Гейне, слышен резкий смех, хохот, который нужно понимать, как выражение раздвоенности, как насмешку над собой. Он же рассказывает о своей встрече с двумя женщинами: матерью и дочерью. Обе хороши: мать – тем, что уже многое знает, дочь – невинностью. И вот поэт стоит меж ними, по его собственному выражению, как буриданов осел меж двумя вязанками сена. Опять дерзость, опять хохот – и уравновешенный немец снова раздражается. Он предпочел бы, чтоб о таких настроениях никто никогда не рассказывал. Но если уже рассказывать, то, по крайней мере, в покаянном тоне, с самобичеванием. Неуместный же смех Гейне неприличен и лишь без нужды расстраивает. Повторяю, сам Гейне далеко не всегда был уверен, что его "искренность" законна. Еще в молодости он рассказывал, что вдоль души его, как вдоль всего мира прошла трещина, расколовшая надвое единство прежних настроений. Царь Давид, когда славил Господа и добро, не вспоминал о своих темных делах (их ведь у него было немало), и если вспоминал, то лишь за тем, чтоб каяться. И он был двойствен, но умел наблюдать последовательность. Когда он плакал, он не мог и не хотел радоваться, когда каялся, он уже был далек от греха, когда молился – он не кощунствовал, когда верил – не сомневался. Немцы, воспитанные на псалмах великого царя, привыкли думать, что иначе не может и не должно быть. Они допускали еще следование различных, даже противоположных душевных состояний, но одновременное их существование казалось им невыносимым и отвратительным, противоречащим божеским заповедям и законам логики. Казалось, что все, что прежде существовало отдельно, смешалось, что место строгой гармонии занял нелепый хаос. И что такое положение вещей грозит неисчислимыми бедствиями. Они не допускали мысли, что сам Гейне мог не понимать этого, в его творчестве видели проявление лживой и злой воли и взывали к человеческому и божескому суду. Обывательское раздражение дошло до крайней степени, когда выяснилось, что Гейне не смирился даже перед лицом смерти. Разбитый параличом, лежал он в своей "матрачной могиле", не в силах пошевелить ни одним членом, испытывая величайшие физические муки, не имея надежды не только на исцеление, но даже на облегчение, и все по-прежнему продолжал кощунствовать. Хуже того, с каждым днем его сарказмы становились все беспощаднее, ядовитее, утонченнее. Казалось бы, уничтоженному и раздавленному человеку оставалось только признать себя побежденным и всецело предать себя великодушью победителя. Но в немощной плоти жил сильный дух. Все помыслы его были устремлены к Богу, тяжелую десницу и власть которого он, как и всякий умирающий человек, не мог не ощущать на себе. Но его мысли о Боге, его отношение к Богу были до такой степени своеобразны, что посторонние серьезные люди только пожимали плечами. Так с Богом никто не разговаривал ни вслух, ни про себя. Обыкновенно мысль о Боге внушает смертным либо трепет, либо умиление, и потому они либо падают ниц перед Ним и умоляют о прощении, либо славословят. У Гейне нет ни молитв, ни славословия. Его стихотворения проникнуты особым, одному ему свойственным очаровательным и грациозным цинизмом. Он не хочет признать грехи свои: даже теперь, на пороге в иную жизнь, он остается тем же, чем был в молодости. Он не хочет ни рая, ни блаженства на небесах – он просит Бога вернуть ему здоровье и поправить его денежные дела. "Я знаю, что на земле много зла и пороков. Но я уже привык ко всему этому, да к тому же редко покидаю свою комнату. Оставь меня, Господи, здесь, но излечи только от болезней и избавь от нужды", – пишет он в одном из своих последних стихотворений. Он высмеивает легенды о блаженной жизни в раю безгрешных душ. "Сидеть на облаках и распевать псалмы, – объясняет он, – для меня совсем неподходящее времяпрепровождение". Он вспоминает прекрасную богиню из Лувра (Венеру Милосскую) и славословит ее, как в дни юности. Его стихотворение "Das noheliied" (Песня песней) – смесь величайшего цинизма, возвышенности, отчаяния и неслыханного сарказма. Не знаю, приходили ли в голову умирающим людям мысли, подобные тем, которые высказаны в этом стихотворении, но с уверенностью заявляю, что никто в литературе не высказывал ничего подобного. В стихотворении Гете "Прометей" далеко нет той вызывающей, непоколебимой, спокойной гордости и сознания своих прав, которые вдохновляли автора "Das noheliied". Бог, сотворивший небо, землю и человека на земле, Бог волен сколько угодно терзать мое тело и мою душу, но я сам знаю, чего мне нужно, чего я хочу, я сам решаю, что хорошо, что дурно. Таков смысл этого стихотворения, таков смысл всего, что писал Гейне в последние годы своей жизни. Он знал, как знают все, что по философским, этическим и религиозным учениям условием спасения души считается раскаяние и смирение, готовность хотя бы в последнюю минуту жизни отречься от "греховных желаний". И тем не менее, в последнюю минуту он не хочет признать над собой власть тысячелетних мировых авторитетов. Он

смеется и над моралью, и над философией, и над существующими религиями. Мудрецы так думают, мудрецы хотят жить по-своему – пусть думают, пусть живут. Но кто дал им право требовать покорности от меня? И может ли быть у них сила, нужная, чтоб привести меня к покорности? Прислушиваясь к словам умирающего, не повторим ли мы за ним его вопрос? И не сделаем ли мы еще шаг вперед? Гейне раздавлен, и если верить (есть все основания верить) тому, что он рассказывает в своей "Песне песней", его мучительная и тяжелая болезнь была непосредственным следствием и результатом его образа жизни. Значит ли это, что и дальше (если будет какое-нибудь "дальше") его ждут новые преследования вплоть до тех пор, пока он добровольно не приспособится к возвешенной или завещанной морали? Вообще, вправе ли мы предполагать, что где-нибудь во вселенной озабочены мыслью о том, чтобы перекроить всех до последнего людей на один манер? Может быть, упорство Гейне указывает на совсем иные намерения властителей судеб. Может, болезни и мучения, уготованные здесь для тех, которые противятся хомутам и шаблонам (эмпирические наблюдения с достаточной несомненностью устанавливают тот факт, что всякие отклонения от нормы и большой дороги с неизбежностью влекут за собой страдание и гибель), есть только испытание человеческого духа. Кто выдержит их, кто отстоит себя, не испугавшись ни Бога, ни дьявола с его прислужниками – тот войдет победителем в иной мир. Мне даже порой кажется, что "там", в противоположность существующему мнению, особенно любят и ценят упорных и непреклонных – от смертных же эта тайна скрыта для того, чтобы слабые и уступчивые не вздумали представляться упорными, чтоб заслужить расположение богов. Тот же, кто не выдержит, отречется от себя, того ждет судьба, о которой обыкновенно мечтают философы-метафизики: он сольется с первоединым, растворится в сущности бытия вместе с массой себе подобных индивидуумов. Я склонен думать, что метафизические теории, проповедующие самоотречение во имя любви и любовь во имя самоотречения, отнюдь не простое пустословие, как утверждают позитивисты. В них есть глубокий и таинственный мистический смысл, в них скрыта великая истина. Их ошибка лишь в том, что они претендуют на безусловность.

Люди почему-то решили, что эмпирических истин много, а метафизическая только одна. Метафизических истин тоже много. Они очень непохожи друг на дружку, но это нисколько не мешает им отлично уживаться меж собой. Эмпирические истины, как и все земные существа, вечно ссорятся и без высшего начальства не могут обойтись. Но метафизические истины устроены иначе и совсем не знают нашего соревнования. Несомненно, что люди, тяготящиеся своей индивидуальностью и жаждущие самоотречения, безусловно правы. Все вероятности за то, что в конце концов они своей цели добьются и сольются с чем им слиться полагается, со своими ближними или с дальними, или, может быть, как хотят пантеисты, даже с неодушевленной природой. Но в такой же мере вероятно, что те люди, которые своей индивидуальностью дорожат и не соглашаются от нее отказаться ни ради своих ближних, ни ради возвышенной идеи, сохранят себя и останутся собой если не навеки вечные, то на более или менее продолжительный срок, пока им не надоест. Так что немцам, по крайней мере, тем немцам, которые оценивали Гейне не с утилитарной точки зрения (с этой точки зрения даже и я всецело осуждаю его и не нахожу для него никаких оправданий), а с возвышенной, религиозной или метафизической, как принято в наше время, сердиться на него не приходится. Он им помешать никак не может. Они сольются, все до последнего, наверное, сольются в идею, Ding an sich, субстанцию или иное заманчивое единство, и не Гейне с его сарказмами помешать их возвышенным стремлениям. А если он сам и ему подобные упорствующие где-нибудь в стороне будут продолжать жить по-своему и даже высмеивать идеи – неужели это может служить предметом серьезного огорчения?

IX

Что есть истина? Скептики утверждают, что нет и не может быть истины, и это утверждение до того въелось в современные умы, что единственной распространенной философией в наше время является философия Канта, взявшая своим исходным пунктом скептицизм. Но прочтите внимательно предисловие к первому изданию "Критики чистого разума", и вы убедитесь, что вопрос о том, что есть истина вовсе и не занимал его. Ему нужно было только разрешить вопрос, как быть человеку, который убедился в невозможности отыскать объективную истину. Старая метафизика с ее произвольными, бездоказательными

утверждениями, в самом деле не выдерживавшими никакой критики, раздражала Канта, и он решил хотя бы признанием относительной правоты скептицизма отделаться от ненаучной дисциплины, которую ему, по положению преподавателя философии, приходилось представлять. Но уверенность скептиков и уступчивость Канта нас ровно ни к чему не обязывает. Да и сам Кант, в конце концов, не выполнил принятых обязательств. Ибо, раз неизвестно, что такое истина, какой смысл имеют постулаты Бога, бессмертия души? Как можно оправдывать, объяснять какую бы то ни было из существующих религий, даже христианство? Хотя Евангелие совершенно не мирится с нашими научными представлениями о законах природы, но оно не включает в себе ничего противного разуму. Чудесам не верят не потому, чтоб они были немыслимы. Наоборот, даже самому простому здравому смыслу совершенно ясно, что основа мира, жизнь – есть чудо из чудес. И если бы задача философии сводилась лишь к тому, чтоб доказать возможность чуда, то дело ее давно и блестяще было бы сделано. Все горе в том, что людям видимых чудес мало, а из того, что многие чудеса уже были, никак нельзя заключить, что и другие, без которых прямо невозможно бывает иной раз жить, тоже в свое время наступят. Люди рождаются – несомненно великое чудо, существует прекрасный мир – тоже чудо из чудес. Но разве отсюда следует, что люди воскреснут после смерти и что для них уготовлен рай? В воскрешение Лазаря в наше время не очень верят даже те, кто благоговеет перед Евангелием, повторяю, не потому, что не допускают вообще возможности чуда, а потому, что никак не могут решить а priori, какие чудеса возможны, какие невозможны и, следовательно, принуждены судить а posteriori: какое чудо было, то охотно признают, а какого не было – в том сомневаются и тем более сомневаются, чем глубже и страстнее желают его. Ничего не стоит уверовать в окончательное торжество добра на земле (хотя это было бы несомненным чудом), в прогресс, в непогрешимость папы (тоже ведь чудеса, и немалые!), ибо *apud s tout*, [12 – В конце концов (фр.)] люди довольно-таки равнодушны и к добру, и к прогрессу, и к папским добродетелям. Гораздо труднее, прямо невозможно поверить перед трупом близкого и дорогого человека, что слетит с неба ангел и воскресит покойника, хотя мир полон явлений не менее чудесных, чем воскрешение умершего. Стало быть, скептики неправы, когда утверждают, что нет истины. Истина-то есть, только мы не знаем ее во всем объеме, а что знаем, того никак обосновать не можем, т. е. не можем себе представить, почему произошло так именно, а не иначе, и в самом ли деле то, что произошло, должно было именно так произойти, как произошло, или могло произойти что-либо совсем иное. Когда-то мы думали, что действительность подчиняется законам необходимости, но Юм объяснил, что понятие необходимости субъективно и поэтому, как обманчивое, подлежит устранению. Его мысль подхватил (без вывода только) и обобщил Кант. Все те наши суждения, которые имеют характер всеобщности и необходимости, приобретают таковой только в силу нашей душевной организации. То есть именно в тех случаях, когда мы особенно убеждены в объективном значении суждения, – мы как раз имеем дело с чисто субъективной, хотя неизменной и прочной для видимого мира уверенностью. Вывода Юма Кант, как известно, не принял, т. е. он не только не сделал попытки выкорчевать из нашего умственного обихода ложные предпосылки (как сделал Юм с понятием необходимости), но наоборот, объявил, что такое предприятие совершенно неосуществимо. Практический разум подсказал Канту, что хотя по своему источнику основы наших суждений неизменно ложны, но их неизменность может сослужить огромную службу в мире явлений, т. е. на пространстве между рождением и смертью человека. Если человек жил до рождения (как думал Платон) и будет существовать после смерти, то его "истины" ему там, в ином мире, не были и не будут нужны, но здесь они пригодятся. А какие там есть истины и есть ли там истины, Кант об этом только делает догадки, которые ему удаются единственно благодаря его готовности отказаться от последовательности в заключениях. Он вдруг дает вере такие огромные права для суждения об умопостигаемом мире, о которых она никогда и мечтать не могла бы, если бы не была принята под особые покровительство самим философом. Отчего вера может то, чего не может разум? И еще более коварный вопрос: не изобретает ли все постулаты тот же разум, лишенный прав в первой "критике" и получивший впоследствии *restitutio in integrum* [13 – Полное восстановление в правах (лат.)] под условием перемены фирмы? Последнее предположение наиболее вероятно. А раз так, то, стало быть, в умопостигаемом мире, столь тщательно отделенном Кантом от мира явлений, мы найдем не только много нового, но и немало и старого.

Вообще, по-видимому, предположение, что наш мир есть только мир на мгновение, краткое сновидение, совсем не похожее на действительную жизнь, – ошибочно. Это предположение, впервые высказанное Платоном, потом развитое и поддержанное многочисленными представителями философской и религиозной

Шестов Л. Начала и концы filosoff.org
мысли, не имеет за собой никаких решительно данных. Платоном руководило желание освободить жизнь от некоторых явно раздражающих несовершенств. Дело хорошее, что и говорить. Но, как это часто бывает, как только желание облеклось в слова, оно тем самым приняло слишком резкое и прямолинейное выражение, так что перестало быть похожим на себя. Сущность истинной, изначальной и загробной жизни представляется Платону как абсолютное, отделенное от всяких примесей добро, как эссенция добродетели. И ведь, в конце концов, сам Платон не в силах вынести чистую пустоту идейного существования и постоянно приправляет ее элементами, отнюдь не идеальными, что и придает интерес и напряжение его диалогам. Если вы, никогда не имев случая читать самого Платона, ознакомьтесь с его философией по учению кого-либо из его поклонников и ценителей, вы будете поражены его бессодержательностью. Прочтите прославленную толстую книгу Наторпа и вы убедитесь, что стоит "очищенное" учение Платона! И вообще, к слову сказать, я рекомендую метод проверки идей знаменитых философов: знакомиться с ними не только по подлинным сочинениям, но и в изложении учеников, особенно верующих и добросовестных учеников. Когда очарование личности и таланта исчезает и остается голая, неприкрытая "истина" (ученики всегда верят, что учитель знал "истину", и показывают ее без всяких прикрас, даже без фигового листа), тогда только становится ясно, как мало имеют значения основные "мысли" даже самых прославленных философов! Еще очевидней это становится, когда верующий ученик начинает делать выводы из положений учителя: чем логичней, добросовестней его выводы, тем вернее он компрометирует своего учителя. Сочинение упомянутого Наторпа, большого знатока Платона, есть *reductio ad absurdum*[14 - Доведение до абсурда (лат.)] идей последнего. Платон оказывается последовательным неокантианцем, ученым и ограниченным, прошедшим хорошую школу в Фрейбурге или Гейдельберге. Вместе с тем оказывается, что идеи Платона в их чистом виде отнюдь не выражают его действительного отношения к миру и жизни. Нужно брать всего Платона с его противоречиями и непоследовательностью, с его пороками и добродетелями, и недостатками его, по крайней мере, настолько же дорожить, как и достоинствами. А то, пожалуй, даже прибавить ему один-другой недостаток и проглядеть хоть одну из его добродетелей. Ибо, вероятно, он как человек, которому не чуждо все человеческое, постарался прибавить себе добродетелей, которых у него не было, и скрыть кой-какие пороки. Так нужно поступать и с другими учителями мудрости и их учениями. Тогда "иной мир" не окажется столь безнадежно отделенным от нашей земной юдоли. И, быть может, найдутся кой-какие эмпирические истины, вопреки Канту, общие обоим мирам. Тогда, стало быть, вопрос Пилата потеряет долю своей всепобеждающей уверенности. Ему нужно было умыть руки, и он спросил, что такое истина. После него и до него многие, которым не хотелось бороться, придумывали умные вопросы и опирались на скептицизм. Меж тем, всякий знает, что истина есть и даже может иной раз определить и формулировать понятие о ней с той ясностью и отчетливостью, которой требовал Декарт. Пределы чудесного ограничиваются теми чудесами, которые мы уже видели на земле, или они гораздо шире? И если шире, то насколько?

X

Еще об истине. Может быть, истина по своей природе такова, что по поводу нее общение между людьми невозможно, по крайней мере, привычное общение при посредстве слова. Каждый может ее знать про себя, но для того, чтобы вступить в общение с ближними, он должен отречься от истины и принять какую-нибудь условную ложь. Однако, важность и значение истины несколько не уменьшается в силу того, что она не может быть предметом рыночной оценки. Даже наоборот, пожалуй, возрастает. Когда у вас спрашивают, что такое истина, вы не умеете дать ответ на этот вопрос даже в том случае, если вы всю жизнь положили на изучение философских теорий. Для себя же, когда вам никому отвечать не нужно, вы отлично знаете, что такое истина. Стало быть, истина по своему характеру несколько не похожа на эмпирическую истину, и прежде чем вступать в область философии, нужно распротиться с научными приемами искания и с привычными способами оценки знания. Словом, нужно быть готовым принять нечто безусловно новое, несколько не похожее на традиционное старое. Вот почему стремление дискредитировать научное знание вовсе не так уже бесполезно, как это может показаться на первый взгляд неопытному человеку.

Вот почему насмешка и сарказм оказываются необходимым оружием исследователя. Самым опасным врагом нового знания всегда были и будут укоренившиеся привычки. Человеку, с практической точки зрения, гораздо важнее знать то, что может ему помочь приспособиться к временным условиям его существования, чем то, что имеет значение вневременное. Инстинкт самосохранения всегда оказывается сильнее самой искренней жажды познания. Причем нужно помнить, что инстинкт располагает бесчисленными и тончайшими орудиями самозащиты, что под командой его находятся решительно все человеческие способности, начиная от бессознательных рефлексов, вплоть до коронованного разума и венценосной совести, – об этом не раз и много уже говорили, так что в данном случае *consensus sapientium* на моей стороне. Правда, об этом говорили, как о нежелательном извращении человеческой природы – и тут я должен протестовать. Я полагаю, что нежелательного здесь нет ничего. Наш разум и наша совесть должны почитать для себя за честь возможность находиться в услужении у инстинкта – хотя бы у инстинкта самосохранения. Им зазнаваться не следует, да они, по правде сказать, не зазнаются и охотно исполняют свое служебное назначение. На первенство они претендуют только в книгах и дрожат при одной мысли о преобладании в жизни. Если бы случайно им предоставлена была бы свобода действий, – они обезумели бы от ужаса, как заблудившиеся ночью в лесу дети. Каждый раз, когда совесть и разум принимаются судить самостоятельно, они приходят к уничтожающим результатам. И тогда они с удивлением убеждаются, что и на этот раз они действовали не свободно, а по указаниям все того же инстинкта, но принявшего другой характер. Человеческой душе потребовалась работа разрушения, и она спустила с цепей рабов, которые в диком восторге принялись праздновать свою свободу делом великого разрушения, нисколько не подозревая, что они по-прежнему остались, как и были, рабами и работают на других.

Достоевский давно уже отметил, что инстинкт разрушения человеческой душе так же свойствен, как и инстинкт созидания. Пред лицом этих двух инстинктов все наши способности оказываются второстепенными душевными свойствами, нужными лишь при данных, случайных условиях. От истины, как признают теперь не только грубые позитивисты, но даже искушенные в метафизике идеалисты, ничего не осталось, кроме идеи о норме. Истина, говоря более выразительным и понятным языком, существует лишь для того, чтобы разъединенные временем и пространством люди могли установить хоть какое-нибудь общение меж собой. То есть человеку приходится выбирать между безусловным одиночеством и истиной, с одной стороны, и общением с ближними и ложью – с другой. Что лучше? – спросят. Отвечу, что вопрос праздный. Возможен еще третий исход: принять и то, и другое, хотя на первый взгляд это может показаться совершенной несообразностью, особенно для людей, раз навсегда решивших, что логика, как и математика, непогрешима в своих указаниях. Меж тем, на самом деле возможно, мало того, что возможно, – возможностью мы бы не удовлетворились (это только немецкие идеалисты способны удовлетвориться добром, которое нище и никогда не осуществлялось), а сплошь и рядом наблюдается одновременное сосуществование самых противоречивых душевных состояний. Все люди лгут, как только начинают говорить: наша речь так несовершенно устроена, что в самом принципе своего устройства предполагает готовность говорить неправду. И чем отвлеченнее предмет, тем степень нашей лживости возрастает, так что когда мы касаемся наиболее сложных вопросов, нам приходится непрерывно почти лгать, и ложь тем грубее и несноснее, чем искреннее человек. Ибо искренний человек убежден, что правдивость обеспечивается отсутствием противоречий, и, чтобы не оказаться лжецом, старается логически согласовать свои суждения, то есть доводит лживость свою до геркулесовых столбов. В свою очередь, воспринимая чужие суждения, он применяет к ним тот же критерий и чуть подмечает малейшее противоречие, начинает простосердечно вопить о нарушении основных принципов добропорядочности. Что особенно любопытно – ведь все, изучавшие философию (а я здесь собственно и преимушественно к ним обращаюсь, как читатель, вероятно, давно заметил), ученые люди все прекрасно знают, что до сих пор никому из величайших философов не удалось окончательно изгнать противоречия из своей системы. На что уже был вооружен Спиноза, – и ведь ничего человек не шадил, ни пред чем не останавливался, а между тем, его замечательная система не выдерживает логической критики: это всем известно. Казалось бы, следовало поставить вопрос, да на какого дьявола нам последовательность, и не являются ли противоречия условием истинности мировоззрения? А после Канта его ученики и преемники могли бы спокойно ответить, что последовательность действительно ни на какого дьявола не нужна, и что истина живет противоречиями. Между тем, только отчасти Гегель и Шопенгауэр, каждый на свой лад, попытались сделать такого рода допущения, но извлекли

Попробуем из вышесказанного сделать кое-какие выводы: ведь пока логика может быть полезна, отвергать ее услуги было бы ничем неоправдываемой расточительностью. Выводы же, как увидим, не лишены интереса. Прежде всего: когда сам говоришь, никогда не прилаживайся к тому, что ты говорил раньше: это без нужды стеснит твою свободу, и без того закованную в слова и грамматические обороты. Когда слушаешь собеседника или читаешь книги, не придавай большого значения отдельным словам и даже целым фразам. Забудь отдельные мысли, не считайся даже с последовательно проведенными идеями. Помни, что собеседник твой и хотел бы, да не может иначе проявить себя, как прибегая к готовым формам речи. Приглядывайся к выражению его лица, прислушивайся к интонации его голоса – это поможет тебе сквозь слова проникнуть к его душе. Не только в устной беседе, но даже в написанной книге можно подслушать звук, даже и тембр голоса автора и подметить мельчайшие оттенки выражения глаз и лица его. Не лови на противоречиях, не спорь, не требуй доказательств: слушай только внимательно. Зато, когда ты станешь говорить, с тобой тоже не будут спорить и не потребуют от тебя доказательств, которых у тебя, ты это хорошо знаешь, нет и быть не может. Зато тебя не станут донимать указаниями на противоречия, которые, ты знаешь, у тебя были и всегда будут и с которыми тебе больно и прямо-таки невозможно расстаться. Зато, зато – и это самое главное – ты, наконец убедишься, что истина от логики не зависит, что логических истин и нет совсем, что ты вправе, следовательно, искать того, что тебе нужно и как тебе нужно, а не умозаключать, и что, стало быть, в результате исканий если будет что-нибудь, то уж никак не формула, не правило, не принцип, не идея! Ведь подумайте только: пока задачей искания является "истина", как ее теперь понимают, нужно быть ко всему готовым. Примерно к тому, что правыми окажутся материалисты и что, стало быть, в основе мира лежат материя и энергия. Нужды нет, что мы сейчас можем разбить материалистов с их доводами. История мысли знает много случаев полной реабилитации заброшенных и опороченных суждений. Вчерашнее заблуждение завтра может быть признано истиной, даже самоочевидной. А независимо от своего содержания, чем плоха система материализма? Стройная, последовательная, выдержанная. Мне уже приходилось указывать, что материалистическое мировоззрение способно не меньше приводить в восторг людей, чем всякое другое – пантеистическое, идеалистическое и т. д. Да если на то пошло, я снова признаюсь, что на мой вкус нет совсем плохих *an sich* идей: я до сих пор способен с удовольствием следить за развитием идеи прогресса, с фабриками, железными дорогами, аэростатами и т. п. Но все же мне кажется наивностью надеяться, что все эти безделушки (говоря об идеях) могут стать предметом серьезных исканий для человека. Если возможна та отчаянная борьба человека с миром и богами, о которой повествуют легенда и история – вспомните хотя бы Прометея – то, разумеется, не из-за истины и не из-за идеи. Человек хочет быть сильным, богатым и свободным, человек хочет быть царем в мире – вот этот жалкий, ничтожный, созданный из праха человек, которого на ваших глазах, как червяка, губит первый случайный толчок – и если он говорит об идеях, то лишь потому, что отчаялся в успехе своей настоящей задачи. Он чувствует себя червяком, боится, что снова придется обратиться в прах, из которого он создан, и лжет, притворяясь, что его убожество ему не страшно – только бы узнать истину. Простим ему его ложь, ибо только устами он произносит ее. Пусть говорит, что хочет и как хочет. Пока в его словах мы слышим знакомые звуки призыва к борьбе, пока в глазах его горит огонь непреклонной, отчаянной решимости – мы поймем его. Мы привыкли разбирать иероглифы. Но если он, как современные немцы, примет истину и норму за последнюю цель человеческих стремлений – мы тоже будем знать, с кем мы имеем дело, хотя бы судьба дала ему красноречие Цицерона. Лучше полное одиночество, чем общение с такими людьми. А впрочем, такого рода общение не исключает полного одиночества и даже, может быть, облегчает трудную задачу.

XI

Я и ты. Очень распространенное выражение – "заглянуть в чужую душу", – на первый взгляд в силу привычки кажущееся чрезвычайно понятным, при ближайшем рассмотрении оказывается до того непонятным, что возникает вопрос – да имеет ли оно вообще какой-нибудь смысл? Попробуйте мысленно наклониться над чужой душой – вы ничего не увидите, кроме пустоты, огромной, черной

бездны и в результате лишь испытаете головокружение. Так что, собственно говоря, выражение "заглянуть в чужую душу" – только неудачная метафора. Все, что мы можем – это по имеющимся внешним данным заключить к внутренним переживаниям. От слез мы заключаем к страданиям, от бледности – к испугу, от улыбки – к радости и т. д. Но разве это значит заглянуть в чужую душу? Это значит только дать в собственной голове место ряду чисто логических процессов. Чужая же душа по-прежнему остается невидимкой, о которой только догадываешься, может быть, правильно, а может быть, и ошибочно. Такое заключение вызывает в нас естественное раздражение: что это за подлый мир, в котором нет возможности увидеть как раз то, что более всего нужно видеть. Но для думающего, ищущего человека раздражение – почти нормальное душевное состояние. Каждый раз, когда для него особенно важно удостовериться в чем-либо – он после ряда отчаянных попыток убеждается, что его любознательность не может быть удовлетворена. На этот раз насмешливый разум присоединяет еще новый вопрос: чего искать чужой души, когда ты и собственной никогда в глаза не видел? Да и существует ли душа? Ведь вот многие люди верили и до сих пор верят, что души совсем и нет, и что только существует наука о душе, называемая психологией. Психология, как известно, о душе ничего не говорит, считая, что ее задача ограничивается только изучением душевных состояний, которые, кстати сказать, тоже совсем еще не изучены... Какой отсюда выход? Можно на насмешку ответить насмешкой же или бранью. Можно отнять у психологии право называться наукой и назвать, как это часто делают, материалистов идиотами. Гнев имеет, бесспорно, свои права. Но все это хорошо и имеет смысл, пока ты на людях и тебя слушают. Негодовать же наедине с собой, когда даже не считаешь использовать негодование для литературных целей (ведь даже писатель не всегда пишет и нередко озабочен менее преходящими мыслями, чем предстоящая книга) – так негодовать никому неохота. Предпочитаешь в тысячу первый раз со всеми возможными предосторожностями приблизиться к заколдованному месту. Авось чужая душа только при приближении постороннего человека обращается в невидимку, и если застать ее врасплох, она не успеет исчезнуть. И, стало быть, тяжеловесная психология, всегда, как и всякая наука, прежде, чем что бы то ни было предпринять, возвещающая во всеуслышание о своих планах и способах их осуществления, менее всего годится для поимки такой легковесной и подвижной субстанции, как человеческая душа. Оставим для психологии почетное звание науки, будем даже уважать материалистов, а душу попытаемся выследить иными приемами. Пожалуй, что в глубине темной бездны, о которой говорено раньше, можно кое-что разглядеть – только головокружение мешает. Так что нужно не столько новые приемы выдумывать, сколько приучать себя без страха глядеть в глубину, всегда представляющуюся непривычному взору бездонной. Да, наконец, и бездонность ведь далеко не наверное совсем ни на что не годится человеку. Нам с детства вбили в головы, что человеческий разум может справиться только с ограниченностью. Но из этого только следует, что у нас есть лишний предрассудок, от которого нужно постараться избавиться. Если придется пожертвовать правом бранить материалистов и поучаться у психологии, да еще чем-нибудь в придачу – что ж? ведь нам не привыкать стать! Зато, того и гляди увидим, наконец, загадочное "ты", да, пожалуй, еще к тому и "я" перестанет быть проблематическим. Терпение – противнейшая вещь, но вспомните факиров и других мудрецов того же порядка. Только терпением и берут. И ведь, по-видимому, кое-чего добиваются. Не общеобязательных истин – я за это почти готов ручаться. Общеобязательные истины уже давно всем оскомину набили. Я, по крайней мере, не могу равнодушно слышать о них. Даже просто "истина" ничего не говорит моему уху. Нужно найти способ вырваться из власти всякого рода истин. В эту сторону и гнули факиры. Они не могут предоставить доказательств своей правоты, ибо видимая победа никогда не бывала на их стороне. Побеждают штыками, пушками, микроскопами, логическими доводами. Но микроскопы и логика венчают ограниченность. И еще: ограниченность часто укрепляет, но бывает и так, что убивает.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!